



ИЗДАТЕЛЬСТВО  
**ГЕЛИКОН ПЛЮС**  
[www.heliconplus.ru](http://www.heliconplus.ru)



Светлана Михеева

# ТЕЛО

Санкт-Петербург

«Геликон Плюс»

2015

**УДК 832.161.1**  
**ББК 84(2Рос-Рус)6**  
**М 69**

**Михеева С.**

М 69 Тело : Повести и рассказы. — Санкт-Петербург, «Геликон Плюс», 2015. — 244 с.

ISBN 978-5-00098-020-0

В этих рассказах вы найдете и сказку и действительности, которые переплетаются самым естественным образом. Герои, обычные люди, кажутся чужаками, но лишь оттого, что действительность задела их своим особым, волшебным краешком. Они догоняют свои мечты, совершают поступки, бегут от самих себя. Автор отпускает их в свободное плавание, лишь изредка проникая в повествование под видом непричастной силы.

УДК 832.161.1  
ББК 84(2Рос-Рус)6

*Книга издана при поддержке Союза российских писателей и Министерства культуры РФ*

© С. Михеева, текст, 2015  
© «Геликон Плюс», оформление, 2015

## Бобы

Люда Георгинова шагала по бульвару, мокрому от первого, мелкого, почти случайного октябрьского снега — и ничего вокруг не замечала. Она переживала всеми фибрами своей красивой и возвышенной души. Полчаса назад она возненавидела чебурашек.

На голову ей опускались красные и желтые листики, ветер нежно сдувал их, теребил Людину челку и целовал изумленные обиженные глаза. «Чертовы чебурашки! Гнусные дебильные чебурашки! Ненавижу чебурашек! — думала Люда. Вообще она редко думала такими экспрессивными образами. Люда была учительницей младших классов, дочерью учительницы младших классов и внучкой директора школы. — Мерзкие, сопливые, тупые чебурашки! Отвратительные прыщавые пубертатные чертовы чебурашки!» — несмотря на свое благородное происхождение, ругалась Люда. И у нее на это имелись все основания.

Она двигалась как красивый большой кленовый лист среди других кленовых листьев. И скоро убаюкивающие движения ветра успокоили ее расстроенное существо. Люду понесло вместе с остальными листьями по бульвару, казалось, она упадет, остановится где-нибудь, зацепившись ручкой или шейкой за фонарный столб или за скамейку — и останется лежать до утра, пока дворник, усатый, оранжевый, источающий запах пожарища,

не шаркнет метлою. И листья, а с ними и лист Люда, вспорхнут — и затрепчат в костре. Ой! Люда вздрогнула, представляя, как загибается сначала ее хвостик, потом пластинка листа. Ой! Люду затошнило, закачало. Она схватилась за дерево и, обнявши его плотное тело, простояла с минуту. Организм ее медленно успокаивался. «Интересно, как называются дети чебурашек?» — подумала расслабленно Люда, мягко оглушенная неподвижностью дерева. Следующую половину часа — пока добиралась пешком до дома — она воображала себя деревом.

\* \* \*

Тем временем на улице зажглись зеленоватые фонари. Тем временем затеплились окошки в муравьиных многонаселенных домах. И Людочка, засмотревшись на окошки, за которыми происходила разнообразная, иногда завидная жизнь, наша Людочка, в зеленом блеклом фонарном свете не разглядев перед собою ничего, опрокинулась в лужу! Она торчала из лужи бегемотом-альбиносом, белое нарядное пальто сразу напиталось печальной осенней водою.

Бывает, что хочется зареветь — громко, протяжно, соревнуясь с сиреною воздушной тревоги. И многие дамы не преминут взвыть этак, не преминут поколебать барабанные перепонки окружающих отчаяньем своей души. И даже без особого на то повода. В смысле, повод, конечно, есть. Но понятен он лишь самой даме, а всем прочим — даже и прочим дамам, которые оказались в зоне поражения, — не всегда очевиден. Например, был случай, когда жена одного человека нашла у мужа в кармане золотую сережку неизвестного происхождения... Или, лучше, вот — муж одной профессорши, Каблуковой Зинаиды, ночью пришел домой с шестью друзьями и ящиком пива смотреть футбол... А можно рассказать

про Катьку, не знаю как фамилия, со второго этажа, ее в тот вечер все слышали — супруг у нее в тот день принес домой зарплату... Или нет, лучше всего рассказать про молодую жену Таню Леденцову, которая пришла однажды домой — а там в ванной Оля Миклухо-Маклай моется ее банными принадлежностями! В общем, повод у каждой свой. Так вот у Люды Георгиновой повод был немаловажный. И когда женщина с немаловажным поводом опрокидывается в лужу пустым ведерком, да еще будучи при этом в бальном пальто, да еще при свидетелях, что она делает? А вот Люда недаром была внучкой директора школы. Она отжала полы пальто и молча — из ее рта не вырвалось ни звука — пошла к своему подъезду. Губы у нее, правда, дрожали.

Еще бы им не дрожать. Она, Люда Георгинова, женщина вполне настоящая, в отличие от всяких там плюшевых животных, не без достоинств и самостоятельная, вынуждена теперь мучиться и страдать неизвестно почему, за какие такие провинности?! Люда вошла в свой подъезд и там, укрытая от любопытных глаз, наконец тихо, как мышка, расплакалась.

От батареи несло казенным теплом многоквартирного дома и еще крысами. Пахла вдобавок свежая краска, коей покрыли, как зеленкой, взбунтовавшуюся от влаги и времени старую краску. Закрашенные места напоминали язвы и наводили на Люду медицинские размышления. И от этого ей становилось еще горше.

Зашла в подъезд Катька со второго этажа, поздоровалась, подозрительно пригляделась. Люда наклонилась, делая вид, что поправляет сапожок, поздоровалась тоже. А когда Катька захлопнула дверь квартиры, Люде подумалось, что по большому счету, рыдать ей не с чего. Бывает, знаете ли, значительно хуже! А у нее же, Людочки, для достижения счастья имелось практически все.

У Люды Георгиновой были муж и дача, где она выращивала клубни и плоды. Люда любила выращивать — хоть котят, хоть картошку, хоть детей. На поприще выращивания детей — правда, чужих — Людмиле Георгиновой не было равных. Поэтому она считалась человеком крайне уважаемым, хотя и довольно молодым. Вот и мечта ее грозит сбыться в самом скором времени. Так что рыдать определенно не с чего.

Так Людочка подумала. Такие мысли утешили ее. И, освобожденная от тяжести отчаяния, Людочка заревела громко и свободно, извергая водопады слез.

\* \* \*

Катаклизмы природы и техногенные катастрофы всегда миновали город, где Люда Георгинова обучала детей доброму и вечному. Жизнь текла медленным и сладким киселем. Текла медленной широкой рекою, текла, ничем не меняясь, при Людиной бабушке, потом при маме — и дальше будет течь, еще долго после Люды, после всех нас. Этот факт был приятен молодой женщине, которая, подобно большинству женщин, тяготела к постоянству.

Осень стлала тяжелые желтые ковры, ветра завивали дымы в частном секторе, пробрасывал уже и снег. А Люда покупала семена и готовила картонные стаканчики для весенней рассады. И если бы не чебурашка, она — абсолютно точно! — была бы самым уравновешенным человеком на свете.

Муж выращиванием не увлекался — особенно детей. Ему нравились долгие командировки, и Люда имела значение только в промежутках. Во все остальное время, знала Люда, имела значение беленькая сослуживица Вероника Степановна, кокетка и велосипедистка. На удивительную попу велосипедистки заглядывались все,



даже — завистливо — и женщины. Люда вздыхала, но горевала в меру. Муж ей достался случайно, так что, по справедливости, когда-нибудь должен был так же случайно исчезнуть. В высшую справедливость, карающую и распределяющую, Люда верила безоговорочно.

Муж достался Люде на тридцатом году ее жизни. Подружка однажды скоропалительно вышла за морячка и укатила к морю, освободив съемную квартирку, а в ней — бой-френда Олега Валерьевича. Люда пришла забрать кое-какие вещи из подружкиного жилища и, обнаружив там ничейного теперь мужчину, оставила его при себе, чтобы успеть до тридцати, как рекомендуют врачи, завести младенца. Олег Валерьевич женился на ней в злости, подружка ведь вышла за морячка.

Людочкина свадьба отгуляла пышно, с разбитыми стеклами и рукопашной. Но вот детей у молодых все не было и не было. Так что Людины надежды не оправдывались. Олег Валерьевич опомнился от своей злости очень скоро, стал работать в три раза больше и приходил домой в основном на ночевку. А также отходил в надежных Людиных руках от похмелий и простуд. Больше ему от Люды ничего не хотелось. Да и Люде с течением времени муж все больше мыслился как факт. Расходиться же они не спешили, все было недосуг. Ей муж хотя бы нравился. Она же ему, по-видимому, в женском смысле не особенно. Только как личность — потому что хорошо готовила и дом держала в порядке, умела одеться, была мягкой и не приставучей. Последнее Олег Валерьевич особенно ценил и называл жену Людочкой. Фамилию после свадьбы Людочка оставила родительскую.

Люда мужа особо не беспокоила. Он состоял при ней как кот, которого она кормила и ласкала, когда тот являлся, нагулявшись. И безо всяких обид. Только вот кот попался не плодовитый. И это удручало. Люда твердо решила плодиться. Но плодиться она хотела

от мужчины, чтобы не стыдно было потом перед ребенком. Чебурашки в отцы не подразумевались. А вот судьба возьми да и надсмейся над ее простенькими мечтами. Возьми да и столкни как раз с представителем этого говорящего вида.

\* \* \*

Он появился не случайно. Он ждал именно Людмилу. Хорошенький, хоть и чрезвычайно лопоухий практикант пединститута хотел выпросить у нее лишних часов практики, на халяву, без отработки. Учительница (которая про себя называла этого студента чебурашкой) посмотрела ясным взором и мягко сказала: «Нет». Студент стушевался — он еще не привык по-взрослому разговаривать с учителями и робел. Он смотрел на нее грустно, жалобно, совсем по-детски. Во дворе школы благоухали цветущие груши. Не зная, как восстановить нарушенное им равновесие, лопоухий студент случайно пригласил Люду в кино. Груши валялись под ногами, гнили, испускали запах брожения. Грушевый пьяный аромат, вероятно, и поверг ее в истому. Люда, наглотавшись забродившего воздуха, пошла в кино, а потом вдруг — в гости. Как вышло все остальное, Люда объяснить себе не могла. Ну вышло и вышло... Но теперь Люда подозревала у себя беременность.

К счастью, получив отметку о состоявшейся практике, юноша больше не появлялся в школе, где работала Люда. В ином случае Люда совершенно бы растерялась, не представляя, что делать с ним дальше.

Впрочем, она и теперь была растеряна -- Люда Георгинова шла к доктору. Стук ее каблучков разносился по больничному коридору тревожным эхом. Доктор был чуткий человек, однако порицал абортниц. Людмила Константиновна и сама порицала их. Но ведь она не

виновата, что даже чешуйчатые пубертатные чебурашки могут зачинать детей. Но с другой стороны, ей уже тридцать пять. Ей уже тридцать пять! Почти шесть лет брака коту под хвост!.. Люда, зарывчав, как уссурийский тигр, рванула на себя дверь кабинета.

\* \* \*

У доктора в кабинете рыдала лохматая девочка. Люда вздрогнула от неожиданности, поспешно прикрыла дверь и устроилась в коридоре. И стала смотреть на беременных в соседних креслах. Ей казалось, что они собрались бодаться животами. Животы их едва умещались под одеждой. У одной беременной была видна широкая впадина пупа. Люде казалось, что из пупа сейчас вырастет до неба боб и по бобовой лиане спустится на землю ребенок. Нет, лучше два ребенка — уж очень живот большой. Такое обещание пусть даже и чужого плодородия было приятно Люде.

Доктор был пожилым, сухопарым и веселым человеком, лечившим еще Людину маму и принимавший саму младенца Люду. Так что Людин организм был ему знаком очень хорошо. Доктор и мама дружили в юности.

— Ну, с чем пришла? — доктор, уютно, по-стариковски, покашливая, зашуршал амбулаторной картой.

Люде стало противно, что она сейчас назовет цель своего визита. И доктор разочаруется в ней и заодно в ее маме, которая родила такую непутевую дочь. А заодно доктор разочаруется и в результате своего труда — это ведь он вытащил Люду на белый свет. Поэтому сослалась на головные боли, тошноту, общее недомогание — и попросила выписать ей какие-нибудь другие женские таблетки. Доктор внимательно на нее посмотрел и через минуту подал ей веером направления на анализы. Люда

ушла, ни словом не обмолвившись о своем интересном положении.

\* \* \*

Муж как раз отсутствовал. Он где-то нежил прелести Вероники Степановны — то ли в Тамбове, то ли в Твери, то ли еще где — Люда давно перестала следить за передвижениями супруга.

Поэтому дома она не стала ничего готовить на обед, а попросту настрогала себе капусты, приправила ее майонезом, еще сложила сырный бутерброд. А проглотив кое-как пищу — от расстройства не было особенного аппетита, — уснула.

Когда Люда открыла глаза, ночь дрожала в окнах. Над кроватью грыз потолок маленький хилый лучик. Жила Люда на третьем этаже, как раз над Катькой со второго и дверь в дверь с профессоршей Каблуковой. Под окнами всегда было полно машин, вокруг все моргало фонарями и кривлялось неонами, и в темное время суток, когда, ложась спать, Люда выключала свет, множество лучиков бегало по стенам и потолку. И когда муж отсутствовал, с этим лучиками было не так грустно. Но сегодня, видимо, что-то сбилось в Людиной жизни, ей в молчаливые собеседники достался только один хилый луч, да и тот, того и гляди, пропадет.

Люда встала, походила по комнате, походила по кухне. Открыла балкон, но сразу стало холодно. Тогда она вынула из нижнего шкафчика пластиковые горшочки для рассады — утешиться. Она мыла горшочки раствором марганцовки и вздыхала. Но поскольку Люда была неисправимой оптимисткой, то есть верила в жизненную справедливость, то вздохи ее не покоряжали бы посторонней души — если бы, конечно, кому-нибудь до-

велось их услышать. Но их, кажется, никто не слышал. Во всяком случае, в квартире больше никого — ни животного, ни человеческого существа — не было.

Перемыв с десяток горшочков, Люда поставила их на подоконник. Потом положила марлю в блюдце и налила воды. Потом передумала и взяла другое блюдце — из праздничного сервиза, тонкое, изящное. Переложила марлю в это красивое блюдце. Сверху насыпала семян, которые нашлись у нее в шкафу, — красных фасолин и желтых горошин. После чего Людина тревога обратилась в сонливость, и учительница нырнула под одеяло.

\* \* \*

На первый урок она проспала. Дети радовались и кидались предметами, и уже директриса шла на шум. Люда успела проскользнуть в класс, сунуть в шкаф пальто. Дети испуганно замолчали, а Люда, не раскрывая журнала и учебника, не проверяя противное домашнее задание, начала рассказывать о том, как прекрасно отражена в русской литературе природа. Молодежь уловила в Людочкином голосе что-то особенное и затихла. Директриса, сунув носик в дверь, успокоилась. Сказала в щелку, что ждет Людмилу Константиновну в учительской на перемене. И пошла накостылять дворнику за неметеный школьный порог.

А Люда замолчала вдруг, посмотрела на детей долгим взглядом. Дети притаились за партами, смущаясь и ожидая. Стукнула форточка, в класс занесло озябший пестрый лист. Учительница подняла лист и закрыла форточку. Настала тишина, будто водомерка неслышно заскользила по водной глади. Людмила Константиновна подняла вопросительно брови. Будто бы она хотела что-то спросить, и дети почувствовали вопрошение. И разда-

лись уже громкие в тишине, тяжелые вздохи — домашним заданием было учить наизусть. Но Люда ничего не спросила. А напротив, начала рассказывать сама, сильно отступив от школьной программы.

— В одной стране жила бедная женщина. Домишко ее изрядно покосился, сквозь дырявую крышу проникал ветер и погащивал, бывало, по нескольку дней. Носила женщина много лет одну и ту же юбку и даже новый фартук себе от бедности не могла справиться. И настолько она была бедна, что и мышам нечем было у нее поживиться. И вот однажды осталось у нее всего лишь несколько старых, сморщенных бобовых зернышек...

\* \* \*

Подходила весна, женщина доедала последние запасы. Подходила весна, а у нее не было ни семян, ни орудий, чтобы возделывать огород. Огород выступил уже из-под снега, требовательно чернел, чем терзал ей сердце.

Бедная женщина взяла бобовые зерна, из которых собиралась в последний раз сварить себе похлебку. Зерна с вечера набухали в потрескавшемся старом горшке, вода вошла в них силою оживления, пробудила их, и теперь зерна начали белеть, приготовясь выпустить бледную стрелку, а затем обмякнуть и раствориться с помощью печи или почвы.

Женщина подумала, что даже если она поест, то это ровным счетом ничего не поменяет на земле. У нее нет детей, огород ее не возделан. Через несколько дней она истончится и умрет от голода. И значит, в следующем году, когда она подобно плохому зерну измякнет в могиле, даже и огород не сможет возродиться из самоопавших, одичавших семян. А род ее, от нее бездетный, естественно прервется. А значит, все было бесплодно.

И от этой мысли стало ей жутко и холодно, хотя зимние ветры уже не наносили визитов в дырявый домишко, а солнце уже грело плечи и обещало скорую жару. Женщина с легкостью в сердце, с той легкостью, какую сообщает привычное отчаяние, подумала о муже, оставившем ее давным-давно. Но жизнь в одиночку все-таки не была одиночеством, так как вокруг все имело корни и продолжения. Огород ее каждую весну наливался и зеленел, к осени благодать земной жизни накапливалась в тыквах, моркови, помидорах, которые трескались от ее избытка. Плодоношение завораживало. Но теперь, думала она, и этому придет конец.

И тогда бобы были извлечены из горшка. И зажав их в руке, голодная, она спустилась в огород. С краю, ближе к дому, она сделала грядку и похоронила в ней семена. Обильно полив холмик из ржавой лейки, она ушла в дом и там сначала плакала от разочарования и голода, а потом уснула.

Когда она проснулась — а спала она целый день и целую ночь, — то сразу выглянула в окно. Грядка выплонула зеленые побеги, которые нуждались в подпорках, запутавшись и выстелив собой землю. Женщина превозмогла слабость и распутала побеги, она выстругала им подпорки, и растения, как змеи, поползли вверх. Потом она ушла в дом, чтобы, если придет час, умереть там, где хотя бы вещи и двери могли поскрипеть о ней, оплакивая.

Но и на следующий день она проснулась. Теперь в ней как будто звучала неясная тихая мелодия, и тело ее обрело странную сухую легкость. До такого состояния высушивают дерево, чтобы делать из него карандаши и корабли. Во рту было сладко, словно кто-то кормил ее медом, пока она спала. По стенам бегали мелкие тени. Она встала с кровати и вышла на крыльцо. Перед ней ниспадал водопад зелени — сильный ветер трепал толс-

тые, с руку, бобовые лианы с крупными листьями. Женщина задрала голову и посмотрела вверх. Гибкие стебли ползли выше домика по невидимым подпоркам.

Она подумала, что теперь точно умрет, потому что увидеть такое — не иначе как дар насмешливой смерти. Значит, смерть предупреждает, что она идет. Бедная женщина взяла тяпку и взрыхлила землю в последний раз. Она также хорошо полила грядку, ведь день выдался знойным и даже выносливая жесткая трава, которая заполнила лоно огорода, начала уставать от жары.

Потом женщина вернулась в дом, оделась во все чистое и легла на застланную постель. Сон одолел ее. Дом поскрипывал, напевая колыбельную ее рукам, которые чистили и правили его. А ей казалось, что кто-то разговаривает с ней: видишь меня? Знаешь, кто я? А когда пробудилось утро, вместе с ним на красной заре пробудилась и женщина, которая казалась помолодевшей. Она была удивлена тем, что может владеть своими руками и ногами, что мысли ее чисты, а душа ее легка так, что она не ощущает ни груза разочарований, ни груза желаний. В окно ее просунулись, точно руки, побеги и легли на кровать, которая стояла близко к окну.

В огороде, который неистово зеленел, паслись птицы — много разных птиц. Одни пели, другие молча висели на зеленом вертикальном ковре. Женщина приблизилась к грядке. Бобовые лианы вросли в небо. Она снова полила их. А еще повыдергала буйные колючие сорняки, которые набирали темно-зеленую силу.

И на четвертую ночь женщина заснула так спокойно и сладко, словно была убаюкана самим Морфеем. В эту ночь начался было ветер. Но после полуночи он неожиданно стих, и по миру пробежала тишина-водомерка. Можно было провести рукою по воздуху, и это породило бы звук настолько громкий, что его слышали бы в соседней стране.



Едва она открыла глаза, проснувшись, как поскорее закрыла их обратно, так как испугалась, что уже умерла и совершенно не знает, что теперь делать. Смерть не объяснила ей, как следует вести себя умершим. Бедная женщина попробовала исследовать окружающее пространство при помощи слуха. Но то, что она слышала, было не менее пугающим. Хотя она знала, что смерть забирает даже и самых малых младенцев, даже и неродившиеся плоды. И только когда женщина потянула носом воздух того потустороннего места, куда попала, она учуяла некий запах, не свойственный бесплотному миру. Это был слабый кислый запах живого, запах чистого, так пахнет иногда вскопанная и обильно промоченная дождями земля. Это был запах ребенка.

Женщина встала с кровати, перерезала зеленую пуповину, которой ребенок соединялся с бобовой лианой, высвободила его из стручка и запеленала. Потом она вышла в огород, чтобы проверить, не породила ли бобовая лиана и других детей. И нашла в глубине рыхлой зеленой стены еще два нераскрывшихся и дышащих стручка. Она улыбнулась. И подумала, что смерть, наверное, отказалась от нее, потому что женщина никогда толком не верила в ее всеислие.

\* \* \*

— Эта бедная женщина захотела, чтобы даже после ее смерти жизнь не заглохла, чтобы она могла продолжиться, возрождаться и быть. И знаете, ребята, осенью, когда будете убирать с родителями урожай на дачах, оставьте в земле несколько семян.

Дети слушали, и даже по звонку никто не заорал и не дернулся бежать. Люда только тогда остановилась, когда в кабинет тевтонской свиньей ворвались директриса, завуч Тамара Петровна, физрук Михалыч и дру-

гие педагоги. Они многословно, но вежливо отругали Людочку — детей давно ждали на уроке физкультуры, а ее, Людочку, ждала на планерке сама директриса.

Вдруг, в разгар попреков, Людочку затошнило. Наверное, это от несправедливости. Такое бывает от несправедливости, особенно у таких тихих людей, как Людочка. Но сама Людочка подумала испуганно: нет, нет! Рано еще!

Директриса, похожая на вертящуюся лягушку — таких лягушек промышленность отливают для детских игрушек: нажимаешь на кнопочку, раскрываются лепестки пластмассовой кувшинки, а внутри крутится земноводное, — требовала от Люды сдать какие-то планы. О каких планах шла речь, Люда не сообразила, увлеченная тошнотой, но виновато и согласно покивав, выскользнула из кабинета. А потом, кое-как, без вдохновения, рассказав детям последний урок, выскользнула в щелочку между тяжелыми школьными дверьми и вновь отправилась в свой нелегкий путь — он был усеян детьми, а шла Людочка к доктору сами знаете зачем.

Она шла через парк. Обычно ей хотелось присесть в парке на скамейку рядом с парочкой щебечущих мамаш и подслушать волшебное щебетание. Но сейчас она старалась пробежать этот участок дороги, ставший для нее трудным. И остановилась только на плотно застроенной улице, которая напоминала бесконечно слоистый неаккуратный бутерброд: красный дом, розовый, серый, снова красный. Дома были неодинаковой длины и формы, и это понравилось Люде, у которой на даче росли неодинаковые морковки и огуречики. Неодинаковость была приятна ей, как добрая родственность разного дышащего и стремящегося.

Светофор раскрыл зеленый глазок, и люди побежали, вместе с ними и Люда, на ту сторону дороги, где сияли витрины, среди которых затерялся нужный дом.

Люда остановилась возле одной витрины, разглядела в отражении себя, стоящую среди множества отражающихся бегущих. Заправила за уши взвихренные волосы. Она должна была произвести хорошее впечатление, чтобы другой, незнакомый доктор, к которому она теперь шла, не подумал бы, что она какая-то такая... Такая какая-то, этакая... ну, знаете, бессмысленная, что ли, безалаберная. Беспутная. Существо эгоистическое и злонамеренное. Отвергающее, изъеденное пороком. Бессердечное, бездушное и развратное.

Людочка так увлеклась подбором крепких и сочных эпитетов к своей персоне, что не заметила наполненной жидкой грязью канавы, которую вырыли ремонтные рабочие. Когда Людина правая нога стала уходить куда-то в землю, она подумала, что ну вот уже и возмездие настигло ее, так она плоха. Ведь все в жизни взаимосвязано и справедливо. И такие намерения и мысли, как у нее, наказуемы непременно. Людочка воткнула левую ногу рядом с правой и замерла. Непременно нужно понести наказание. Она привыкла к порядку наказаний. Двойки ученикам ставила только за дело — но за дело ставила всегда. Писала родителям записки — но справедливо. Сама ходила в кабинет начальства и несла время от времени наказание за неправильно проведенное внеклассное занятие, за недостаточную работу с родителями. Еще мама у нее, помнила Людочка, желая сохранить правильный алгоритм действия, сама себе писала в дневнике дочери замечания и вызывала себя саму в школу записками. Маленькая Людочка не задавалась вопросом, зачем же мама пишет записки сама себе, для нее это было обыкновенным, как дерево во дворе или как полезность молока. И если теперь Людмила Георгинова проваливается сквозь землю, то это вполне заслуженно. Черти как раз ждут, чтобы кто-то вроде такой нехорошей женщины свалился бы к ним на сковородку.

Увязнув до колен, она почувствовала вдруг твердь — и очнулась. И поняла, что всего лишь стоит по колено в грязи, и сумочка у нее грязная, а на лице выступил серый пот. Хорошо хоть бальное новое пальто осталось в этот раз дома, а она — в серенькой немаркой одежде. Она вздохнула облегченно, радостно вылезла из канавы и пошла домой. И правильно, в таком виде, в грязи по колено, в медицинские учреждения, конечно, не пускают.

\* \* \*

Муж привычно отсутствовал. И это сегодня было совсем неплохо. Потому что Людочка сегодня морально устала. Она долго стояла в душе. Потом пощелкала каналы телевизора и, разочаровавшись, покорно легла в постель. Она не могла вызвать в себе обычного интереса к телевизору, читать тоже не хотелось. Людочка выложила руки поверх одеяла и тревожно шевелила пальчиками. Что же теперь с нею будет?

Лучики забегали по потолку и стенам, и Люда под их тихую световую беседу приготовилась засыпать. Но потом вдруг захотела воды и пошла на кухню. Напилась и встала у окна смотреть на двор, где под деревом совсем близко от нее целовался высокорослый молодняк. Парочка слиплась надолго, и Люде вскоре надоело на них смотреть. Она обратила взор на праздничное блюдо с фасолинами и горошинами. Люда заметила, что семена уже сильно набухли, некоторые даже проклюнулись, и удивилась: что-то слишком быстро, за один день. Но и обрадовалась, потому что спать ей совершенно не хотелось, а теперь можно было и не спать. Люда взяла картонные стаканчики для рассады, насыпала земли из пакета и воткнула в черную жирную покупную землю красные и белые фасолины, желтые горошины.

На следующий день Люда явилась в школу раньше обычного. Всю ночь она пробыла в коварной полудреме. Хотелось утонуть в черноте сна, но какая-то непослушная волна все время выносила ее на поверхность. Люда сквозь веки видела свет — наверное, это бегали ее знакомцы-лучики, слышала голоса, вызванные, вероятно, ее тревожным состоянием. Голоса обращались к ней, обещали что-то. Утром Люда никак не могла вспомнить, что конкретно ей обещалось. В ванной она лениво повозила щеткою по зубам. Потом за чаем съела полбанки малинового варенья. От такой сладости организму сделалось противно, и Людочку затошнило. Она кинулась было к раковине, но передумала и обернулась к подоконнику, где рядом со стаканчиками для рассады стояли не убранные еще под кровать банки с солеными домашними огурцами. Протянулась к банке, чтобы унести в темное место, — и замерла. Вверх по шторе полз нежный зеленый росток.

Росток надстраивался, растягивался тоненьким зеленым тельцем, стремился вверх. Медленное его стремление равнялось упорству вод, упорству вулканической лавы, равнялось выдавливанию горных пород в необыкновенный, не представляемый человеческим мимолетным рассудком период. Миллиарды лет на глазах двигались вверх по шторе, утверждая неумолимое движение как душераздирающую силу жизни. Людочкины синие глаза распахнулись удивленными окошками. Из одного окошка выглянула хозяйка и улыбнулась мужчине, подрезающему веселые лохматые кусты. Возле кустов металась смеющаяся собака. Она хватала мужчину за штанину, тьякала, подпрыгивала. Хозяйка кинула собаке мячик. Но мячик укатился на дорогу. По дороге ехал молодой почтальон.

Он подобрал мячик, подъехал к кустам и отдал мужчине письмо. Мужчина отнес его хозяйке. Почтальон кинул собаке мячик. Собака схватила его на лету и гигантской черной мухой завалилась на куст. К собаке бежали громкие дети. Хозяйка улыбнулась детям и пристально смотрела вдаль, где лес, приобретающий уже прозрачность, все еще стоял стеной, охраняя благополучный угол от непрошенных гостей... Тут Людочка сморгнула и волшебная картинка пропала. Будущая мать сосредоточила зрение на закорючке боба. Росток на ее глазах превратился будто бы в стебель. И она стояла, простая учительница младших классов, и стеснялась того, что миллиарды лет выбрали ее свидетелем своего движения по шторе вверх. Хотя ей, Людочке Константиновне Георгиновой, хотелось бы на самом деле простого человеческого счастья — и ничего другого! Но кто бы спросил ее, чего она хочет!..

Давайте все же спишем эти странности восприятия на то необычное положение, в котором оказалась молодая женщина. Неуёмные воображательные способности свойственны беременным, это вам любой скажет. Ведь что здесь к чему? Абсолютная бессмыслица. Так и подумала о своих грезах рассудительная Людмила Константиновна и решила пойти реализовать свое право на бесплатные анализы. Было еще очень рано. Так рано, что еще темно. Но гражданке Георгиновой следовало поспешить — пока не накопилась в поликлинике очередь.

Она принесла с собою баночку и оставила ее в окошечке, прикрыв направлением. В кабинете по соседству ей проткнули вену и высосали изрядно крови. Голова поплыла, но Людочка нашла в себе силы зайти в другой кабинет и проткнуть еще и пальчик... А в общем-то, говоря честно, все это не важно. Потому что все равно о результатах этих анализов пациентка Георгинова узна-

вать не пошла. Да и вряд ли результат был верен — банка малины наверняка сильно изменила клиническую картину. Но мы с вами этого точно не узнаем — потому что посторонним людям в поликлинике не выдают сведения о здоровье граждан.

\* \* \*

...Мы не станем подробно досказывать, что было дальше в то раннее утро, когда, отведавши малины, Людочка побежала в поликлинику, а потом на работу. Не станем вспоминать, как после работы она побежала домой, а потом, на следующее утро, снова — на работу и по делам, в платную клинику спросить насчет аборта. И так она крутилась белкою, так она существовала, имея в голове абсолютную неопределенность, среди которой вдруг приходили ей определенные здравые мысли, что вот нужно бы купить новые колготки, или хлеб дома закончился, или хорошо бы напомнить мужу о действующем запрете стирать галстуки в стиральной машине. Муж Олег Валерьевич, появившийся из командировки, облизывался после ужина, кивал жене и называл ее Людочкой. А через час вынимал из стиральной машины жалкие разноцветные веревочки, завязанные хитрыми узелками. Утром кашлял, мучился, обматывая веревочками горло. И уезжал обратно в Тамбов или Тверь или куда-то еще. Вероника Степановна караулила его у подъезда в автомобиле. Людочка с содроганием смотрела в окошко, когда муж погружал тело в автомобиль, точно в перезрелый, резко пахнущий плод — Вероника Степановна всегда пахла пугающе, очень резко, помнила Людочка, автомобиль же ее был коричневого гниловатого цвета. Людочке казалось, что внутри этой машины Олег Валерьевич всякий раз мутирует, с каждым разом все больше пре-

вращается в неизвестное науке насекомовидное чудовище, совершенно чуждое человечеству и лично ей, Людмиле Георгиновой — как уполномоченному представителю всего человечества. Поэтому, когда она открывала двери, встречая мужа после командировок, она сначала испуганно замирала перед дверью, а потом уже поворачивала ключик — кто знает, что за существо она сейчас впустит в дом. Но, как правило, перед ней был все тот же Олег Валерьевич. Тем не менее машина Вероники Степановны всякий раз вызывала у нее устойчивый рвотный рефлекс.

Авто трогалось, Людочка вздыхала. Но в этом ритуальном вздохе с недавнего времени прослушивались нотки облегчения. Потому что с каждым днем назревала необходимость сообщить Олегу Валерьевичу сенсационную новость о продолжении рода Георгиновых — к доктору Люда так и не попала, и мысль об аборте сама собой растворилась в ее голове под влиянием времени и мечты, растворилась бесследно, как будто ее там никогда и не было.

Людочка еще не придумала наиболее щадящего способа сообщения — чтобы избежать повреждения хрупкого, уязвимого существа Олега Валерьевича. Людочке было сложно представить, что она потеряет Олега Валерьевича хотя бы как факт. Поэтому можно поехать в отпуск в Турцию и там, среди расслабляющей роскоши пляжей и отелей, рассказать ему... Или в горах, двигаясь на фуникулере, обозревая великолепные пейзажи, торжественно сообщить ему... Или заказать в ресторане *arrosto di vitella al forno* и, попивая в ожидании изысканное красное вино (Олег Валерьевич предпочитает изысканные напитки, да), написать ему на салфетке...

Людочка спотыкалась всегда на одном месте — не знала, что конкретно сказать или написать.



...Мы пропустим и еще несколько недель, пока Людочка была в очередном отпуске — не в Турции, не в горах, а дома. За это время гостей она к себе не приглашала, жила почти тайно, выходя на улицу только по бытовой магазинной необходимости. Олег Валерьевич за это время наезжал три раза, а уезжал четыре. А один раз он вывозил Людочку на дачу, закрывать дом. Дом закрыли, Люда всплакнула, глядя на голые грядки. Конечно, плакала она не оттого, что грядки были безжизненны. Ее угнетало фальшивое положение, в котором она вдруг оказалась. В этом положении был какой-то знак, очевидно. В ее жизни неожиданно случилось вдруг столько всяких поводов для переосмысления действительности. Но Людочка, привыкшая к прямизне и ясности во всем, робела перед проявлениями судьбы и никак не могла схватить кончика, чтобы распутать хитрые узелки. Она вела сеанс одновременной игры сразу с несколькими важными обстоятельствами, совершенно не понимая, что от нее требуется, и не зная, как ходят в этой замысловатой игре фигуры. Она плакала поэтому, бродя по участку, где она знала всё до единого камешка, и все эти камешки отдавали тепло ее рукам, где каждая частичка земли отвечала ей взаимностью, обозначая мир как величину постоянную, а потому и справедливую. И Людочкина вера в справедливость оказалась в ситуации опасной, справедливость сделалась ставкою в странной игре. А Людочка была человеком совсем не азартным.

Густая желто-красная осень разжижилась в блеклую бледную зиму. Снег ежедневно стаивал, часам к четырем бывало довольно некрасиво. Люде обнажение полумертвого тела земли сильно не нравилось. Но в обед начинался снегопад. И она садилась к окошку, предзимние обмороки природы вызывали у нее прият-

ную меланхолию, и ей хотелось также пойти снегопадом, тоже упасть в какой-нибудь долгий обморок. Была Люда — а вышла вся снегом, так люди скажут. Очень красиво. Умереть так же трагически и неизбежно, как снег... Ах да! Она, Людмила Георгинова, еще собиралась стать матерью...

Люда принималась тогда воображать себя матерью, мысленно покупала пеленки младенцу, мысленно уговаривала подросшего ребенка не жадничать в детском саду, потом не велела пропускать факультативные занятия в школе, потом уговаривала не жениться на легкомысленной Элеоноре, а жениться лучше на обязательной Даше, потом провожала на работу в Западную Африку, где проводились жизненно важные исследования самых передовых вакцин. Потом приняла его приглашение переехать в Африку. Но потом все-таки отказалась — чтобы не отдаляться от родных могил... Тут Людочкин носик сморщился сам собой, в норках зацепило: мама состарится и умрет, как все! Мама проживала на пенсии в соседнем маленьком городе. Надо позвонить ей, подумала Людочка и покраснела: давно не звонила.

Обычно, посидев с часок у окошка, Люда шла поливать ростки, лелеемые ею от одиночества. Ростки эти приняли уже вид полноценных растений. Один бобовый стебель трижды обернулся вокруг лампочки, другие заметно отставали, но и они дотянулись почти до потолка. Люда пересадила травы в большие горшки и устроила на полу. Олег Валерьевич изредка — когда бывал дома — запинаясь о горшки и кричал нечленораздельно.

Будь Олег Валерьевич более постоянной величиной в Людиной жизни, она бы, конечно, убрала горшки, подвинула. Но он появлялся дома все реже и реже, поэтому Люда попросту забывала. Однажды Олег Валерьевич

евич и вовсе пришел домой без пальто и шапки, и, стоя на пороге, сказал: его переводят в один большой город, где он намерен постоянно проживать, и выехать нужно через час, а потом он напишет, что и как, и Людочка — если захочет, конечно, ехать в смрад, смог и хаос, что вряд ли, — сможет перебраться к нему. Но это ужасное место! Так что он предупредил.

Людочка подошла к кухонному окну. Внизу, спрятавшись в арку, вонял автомобиль Вероники Степановны. Олег Валерьевич одернул пиджак, как бы чуточку смущаясь. Потом прошел в кухню, залез рукою в кастрюльку, долго нащупывал, искал в подливе плотные съедобные предметы. Наконец извлек котлету. Котлета имела тот же неопределенный цвет, что и все котлеты на свете. Она влажно поблескивала, соус стекал с нее жирными каплями, сдабривал туфли Олега Валерьевича, так что туфли тоже скоро стали похожи на котлеты.

— Котлеты из нещипаных ворон, — неожиданно для себя уточнила пункт меню Люда.

— Ой, Людочка, не начинай! Так надо, это необходимые издержки карьерного роста! — пискляво заголосил Олег Валерьевич, для эффективности защиты сразу переходя в наступление.

Люда улыбнулась. Желая упорядочить трапезу мужа, достала посуду. Но Олег Валерьевич замахал руками — мол, не надо! не надо! — и зачавкал, держа котлету в коренастых пальцах. Котлета была скользкою — и прыгнула из пальцев и брякнулась прямо в карман пиджака. Олег Валерьевич взвыл нечеловеческим голосом, потому что любил дорого и аккуратно одеться. Он размахивал грязною правою рукою, будто гонял вокруг себя мух, а левою чистой лез в правый карман — и никак не мог попасть. И было это так неловко, что Людочка рассмеялась. Олег Валерьевич тогда рыкнул, выхватил

у Людочки тарелку и хлопнул об пол. Людочка поморщилась и обозвала его дураком. Олег Валерьевич схватил кружку и... К счастью, снизу раздалось настойчиво: би-би-би! Олега Валерьевича перещелкнуло, как механическую куклу, он вернул кружку на стол и завис в пространстве и времени.

Пока муж перезагружал свою операционную систему, Людочка достала надкусанную котлету из его кармана и определила ее в помойное ведро. А потом с возникшей вдруг пустотой и легкостью сердца пошла собирать для супруга чемодан. Пока Олег Валерьевич, воя и поругиваясь, чистил перья, она пыталась разобраться, что происходит в ее собственной душе. Складывая мужнины трусы, Людочка поняла, что никогда не приедет в другой город к Олегу Валерьевичу. И при этой мысли в районе солнечного сплетения у нее защеботало, запело. А в животе приятно потяжелело. Она поставила чемодан к двери и стала ждать.

\* \* \*

Когда Олег Валерьевич вытребовал в другой город фотоальбом юности, Людочка выбросила в форточку забытую им зубную щетку. И на сердце у нее совсем потеплело. Вы, конечно, в это не поверите. Катька со второго этажа, а также и Таня Леденцова, которая забежала к Катьке в гости, решили, что Люда — брошенная жена, и сочувствовали соседке всеми силами своих сентиментальных сердец. Каблукова же Зинаида, накладывая огуречную маску, сухо хохотнув, назвала Людочку умно — соломенной вдовою, но пожалела в глубине своей ученой души. А Оля Миклухо-Маклай, натягивая левый чулок в спальне Катькиной квартиры, думала, что у Люды совершенно дурацкий, нисколько не сексуальный, весь в разноцветных зонтиках и вульгарных

затяжках банный халат — поэтому ничего другого в своей жизни эта дурочка ожидать и не могла. А выходя из Катькиной квартиры и чмокая Катькиного мужа, засожалела вдруг тайно, про себя, что не может быть брошенной женой, а только «кем попало». Катька вчера так и вопила на мужа — слышал весь подъезд: спишь, гад, с кем попало!

Людочка, конечно, тоже слышала, как вопила Катька. Но в ее сердце это никакой личной болью не отозвалось. Попа Вероники Степановны, слившаяся в сознании с образом Олега Валерьевича, давно уже не беспокоила ее воображения. Мировое равновесие восстановилось. Случайный Олег Валерьевич, прилетевший в Людину жизнь легковесным мячиком, отскочил на зеленое поле чьей-то другой жизни. Людино интересное положение теперь даже не требует объяснений и оправданий. Вот так — и точка, и больше никак! Люда тихонько торжествовала. Ведь по существу, Олег Валерьевич так и ни стал ей никем, а интересное положение обещало сразу многое.

\* \* \*

Рассказ, в сущности, можно было начинать с этого места как с начала. Но вы же понимаете, что авторам больше платят за длинные рассказы. Вот они и выют веревки, вот они и тянут, плетут сети, чтобы уловить рыбку-читателя, а потом поджарить и съесть.

Но сознайтесь, читатель никогда не согласится добровольно преодолеть мучительный перегон, который называется повествованием. На первой странице ему справедливо хочется знать, в чем же перспектива истории, кто с кем, кого и за что. И будет ли хеппи-энд. Можно и не хеппи-энд, но только чтобы не открытый финал! Мы не хотим открытого финала! О, открытый

финал — это читательский кошмар! Вы уж лучше эту историю насовсем закончите, пусть они поженятся. А потом следующую начнете. Пусть, например, она ему изменит... А от повествования, которое медленно набирает обороты, которое разгоняется, дабы ввести в курс дела, читателя качает и оттого даже тошнит, как бедную Люду в ее интересном положении. В конце концов, нам, авторам, надо иметь совесть и понимать: мы отнимаем у читателя время, которое он мог бы потратить на просмотр телепередач...

Так вот, я сообщаю, что читать можно прямо отсюда. Конечно, если издержки авторской фантазии кажутся вам занимательными или если вы не слишком дорого цените свое время, то прочтите всё. Я тогда расскажу вам еще и о детстве Люды Георгиновой, чтобы вы смогли во всей полноте представить масштабы и последствия случившегося с ней: в детстве Люда Георгинова предавалась глупостям фантазии. Например, она вообразила, что в кладовой внизу слева есть маленькая дверь, куда она одна может зайти, а за этой дверью — перевалочный пункт в волшебное царство. То ли приснилось ей это, то ли еще как-то привиделось, но эту дверь она все детство напролет искала с упорством ослика, подметая длинной челкой пол в кладовой.

Должно предупредить: то, что вы прочтете далее, может вызвать дискомфорт, слабость и временное расстройство зрения. Если ваш обычный взгляд на вещи во время прочтения меняется, распространяется под каким-то подозрительным углом, чтение следует прекратить. Если мировоззрение не восстанавливается и впоследствии, то следует найти автора — и разобраться с ним по-взрослому. Если же в голове зазвучали еще и голоса, разъясняющие вам смысл жизни, диктующие направление движения, то, не беспокоя автора, следует незамедлительно обратиться к врачу.

Итак, оставленная мужем, подозревающая у себя беременность от случайного любовника учительница младших классов Людмила Георгинова жила теперь совершенно одна. Она решила, что справедливость наконец восторжествовала. И это принесло ей немалое облегчение. Ведь когда ты бредешь по жизни с чемоданом, полным чужих денег, с чемоданом, который следует отдать... В общем, фальшивому положению пришел конец. И Люда начала готовиться к рождению.

Вечером того же дня, как она выслала мужу в другой город фотоальбом юности, Люда почувствовала слабость, легла в постель и оттуда стала смотреть в окно. В природе было уже весьма прохладно. Деревья растопырились черными беспорядочными скелетами, свирепствовали ветра, которые обгладывали белую плоть, нарастающую на деревьях. Люда смотрела и воображала, по своему обыкновению, всякую ерунду. После того как Олег Валерьевич переехал в другой город, к Люде вернулась ее детская привычка видеть то, чего нет. Например, в данный момент она наблюдала следующее: черная башня на белой опушке, возле замка топчется черный конь, несущий молодого всадника. Кто этот всадник, Люда не знает. И вдруг слышит какой-то шелест. Ничего в этом шелесте разобрать нельзя, как будто десять голосов шепчут одновременно. Всадник насторожился, конь уши насторожил. Всадник голову поднял, окно на вершине башни затеплилось, засветилось. Голоса стали гуще, забеспокоился конь, голые деревья застучали ветвями. «Видишь ли ты нас, всадник? — лепетало вокруг. — А мы тебя видим, видим...» Людочка вскрикнула, потому что сделалось ей не по себе, оттого что кто-то может наблюдать за человеком, когда он этого и не подозревает.

Голоса набирали силу. И были уже не шелестом, не лепетом, а настойчивым шепотом, словно именно с Людой разговаривал многоголосый бог леса, которому надо говорить и за каждую травинку, и за каждое дерево. Люде почудилось какое-то движение в комнате. А за окном будто бы погас фонарь... Ах, фонарь действительно погас. Фонари в городе гасят после трех часов ночи... Значит, уже больше трех. Она встала выпить воды.

На кухне капал кран. Олег Валерьевич поменял незадолго до отбытия резиновую прокладку, но кран все же капал. Кап-кап-кап-видишь-меня-видишь-меня-видишь-меня... Люда прислушалась к задорному бормотанию воды. Ей нравилось капанье, которое другому показалось бы назойливым и раздражающим. Не затягивая крана, она пошла спать.

Следующий день, выходной, провела Люда возле телефона. Она хотела позвонить маме и сообщить новости своей жизни. Но проведя в неторопливых размышлениях возле телефона весь световой день, едва зажглись первые фонари, посчитала, что еще рано сообщать. Сообщить она всегда успеет. У нее была теперь бездна времени для размышлений. Она по-прежнему мало с кем виделась, и по-прежнему компанию ей составлял один только снег.

Ночью Люда увидела страшный сон. А проснувшись, не смогла вспомнить о чем он был. «У-у-у-види-и-ишь ме-е-еня, у-у-у-видишь ме-е-еня-а-а...» — слышала в открытую форточку. Она подошла к окошку, но форточку закрывать не стала, звук ей нравился. Как будто она была в квартире не одна, как будто кто-то играл с ней в добрые прятки.

А ведь она и впрямь не одна, счастливо подумала Люда, оттягивая вниз ночную рубашку.



Так прошло много дней и ночей. Люду теперь окружали необычные картины и звуки. Звуки будто бы приглашали ее в собеседники, осторожно приглашали, не требуя, не пугая. Когда Люда совсем привыкла к ним и перестала воспринимать как нечто чужеродное, ей и самой захотелось поговорить. Она рассказывала о своей жизни, о маме, об эпизоде с Олегом Валерьевичем. Она забавно изображала коллег, делилась планами на будущее. А в ответ узнавала новое о мире. Так в квартире многоэтажного дома Люда мирно беседовала по вечерам с невидимым кем-то и ухаживала за растениями, которые поползли уже из кухни в гостиную по веревочкам, заботливо протянутым Людой. Растения словно бы отзывались на хозяйкин голос, поворачивали листики, раскачивали усиками, тянулись кончиками.

Люда никому не сообщала о своей радостной новости. Только переделалась в широкие на животе платья стиля ампир, что были как раз в моде. Приступы тошноты повторялись редко и теперь не пугали, а радовали. После уроков Люда часто ходила в парк, сидела с мамашами, знакомилась, болтала, обсуждала пеленки и детские сопли. Ходила также по магазинам и покупала нужные вещи. Ей нравилось увлечь продавщицу разговором. Она пускалась в неостановимые фантазии про двух, а иногда трех своих детей, попутно рассказывала о пляжах Турции, о фуникулерах над заснеженной Европой, об итальянских развалинах, на которых никогда не бывала. Пространство повествования постепенно наполнялось сказочной реальностью, едва ли не принцессами и принцами, едва ли не драконами и феями. Оно разворачивалось красочно, наполняясь то темными ночными соками, то золотой водой подсолнечного ручья, то проливая августовские слезы прощания, то обру-

шивая зеленые смерчи созревающего мая. Желтоватый противный свет торгового зала очищался до радужной переливающейся чистоты, в которой преломлялись все действительные вещи, обнаруживая как бы двойное дно — вот, к примеру, этот охранник с косым глазом и неаккуратными ботинками, он вполне себе сторож унылого подземелья, хранящего Бог знает какие секреты. Или вот отвратительное люминесцентное полено, которое моргает под потолком, раздражая глаза, — оно есть сияющая змейка, ползущая быстро и отбрасывающая неравномерный мигающий свет...

Людина вдохновенная радость свежим сквознячком продувала торговые павильоны. И к одной слушательнице вдруг присоединялась другая, подходила из обувного павильончика третья, прибежала, бросив вороха трикотажа, четвертая. Трудно сказать, какое впечатление производили Людины рассказы на этих посторонних женщин, целый день вязнувших за прилавком, сторожащих и отпускающих разные произведения промышленности. Но они становились вдруг соучастницами волшебной наполненной жизни, преподнесенной отвлеченно, ничейной, бесхозной, не соотносившейся будто бы с рассказчицей (так оно на самом деле и было). Эту жизнь, казалось, можно присвоить, присовокупить каким-то образом к своей. Поэтому счастливый вид покупательницы не отталкивал их, не провоцировал зависти. Люда являлась случайным лучиком, оживлявшим печальные существа женщин.

Наговорившись, она покупала несколько вещичек и выходила под небесные своды, которые с каждым днем становились все ярче и приветливей. Уже апрель качал льдины на реке. Уже приветственно ухмылялись лавочки, приглашая присесть, отдохнуть, подышать воздухом неторопливо, не на бегу, как всегда дышат в городе. Люда ходила теперь осторожно, и присаживалась на

каждую лавочку, и могла вдыхать медленно, и никуда больше не торопилась. Она непрактично уволилась с работы на некоторое время — для того чтобы ощутить радость приближающегося материнства в полной мере, а не в жалкие дни, отпущенные на это государственным здравоохранением. К большому ее удовольствию, она могла себе это позволить: Олег Валерьевич ежемесячно благодарил Людочку финансово — как формальную, но покладистую супругу. Судя по денежным молчаливым переводам, превышающим учительскую зарплату, дела его шли хорошо.

Купив какую-нибудь сладость, Люда поела ее на лавочке, а потом шла домой раскладывать покупки. В подъезде больше не пахло крысами. Здесь тоже блуждал весенний волглый, неуютный, но свежий и задорный ветерок. Люда, поднимаясь по лестнице, гладила ветерок против шерсти (он всегда дул сверху). У двери она счастливо вздыхала, доставала ключи. Из замочной скважины к ней тянулся зеленый хвостик.

Растения заполнили квартиру, как густой туман. Людмиле с каждым днем становилось все приятнее. Вокруг нее образовался стройный мир, в котором она сама росла подобно всякому плоду. Привычная мягкая грусть, свойственная людям с нежным и тихим характером, покинула ее. Теперь настойчивая радость непримиримо развивалась и приливом погружала ее в световые пучины. Казалось, ее органическое состояние и заключалось в том, чтобы пребывать в одиноком мире растительной простоты, тотальной природной справедливости.

\* \* \*

Срок приближался. Людочкин шкаф раздуло от обилия детских вещей. Уже ничего не было нужно. Ро-

дись у Люды одновременно трое девочек и трое мальчиков, вещей, которые припасла Люда, хватило бы всем. Однажды она почувствовала тяжесть общения и срочно покинула магазин детской одежды, где уже в третий раз покупала чепчики. Она покинула магазин очень скоро, к большой жалости продавщицы Гали, трогательной, вопиюще накрашенной девушки. Галино маленькое личико сморщилось, густо обведенные зеленым глаза нахохлились попугаями. Галя возвратилась, вздохнув, за прилавок и стала думать о том, что бы приготовить на ужин. Ужин в Галиной жизни занимал, определенно, самое большое место. Потому что муж ее, Александр, всегда являлся к ужину, а свекровка Эмилия Антоновна к этому времени покидала квартиру, удаляясь в больницу на ночное дежурство. Галя перебирала доступные своему кошельку гастрономические изыски. С глубокой печалью отвергла запеченного в сливках морского окуня, отвергла также и бефстроганов и остановилась на жаренной с луком печенке. Потом Галя подумала вдруг, а не всплакнуть ли ей, но солнце в окошке сияло вызывающе ярко. Раскладывая перед очередной посетительницей пестрые и розовые ползунки, Галя забывчиво и беззащитно стала мечтать о всяком — о путешествии в теплые края, о младенце, о халатике цвета морской волны, который привезли в соседний отдел. Халатик был хорош, к нему прилагались даже и банные тапочки. Но Эмилия Антоновна, наверное, не разрешит...

Люда же, выскользнув из магазина, полетела мимо лавочек и тополей, развернувших клейкие листья. Сама себе казалась она зеленым листочком, только что родившимся и трепетавшим теперь на ветру. С какой-то новой полнотой запела вся она внутри. «Если бы внутри меня не было пусто, то не могло бы потом быть наполнено», — с замиранием сердца, с восторгом, обрывающим дыхание, думала Людочка, исходя весен-

ними чистыми водами, водами жизни, проснувшимися от ледяного сна и бегущими теперь тайными сокровенными дорогами.

Громкая собака выскочила из переулка и кинулась под ноги Людочке. За ней на длинном поводке волочился радостный старик. Он пронесся мимо. Мимо Людочки, которая совсем превратилась в листик и уже не думала ни о чем, избавилась от всяких мыслей и только трепетала. Мимо Людочкиной молодости пронеслась чья-то другая удивительная жизнь, шедшая к закату, неизвестная жизнь, состоящая из множества мелких, никчемных и памятных вещей, из мусора, который питает память. Не будь этого мусора, как люди смогли бы удержать при себе свою жизнь? Старые фотографии, сломанные на углах, заключенные в бумажные паспарту с номером фотоателье, — склоненные друг к другу головы, густая ретушь, грубый, но трогательный декор. Пуговицы, которые за всю жизнь насобирали старухи — ларчик или коробка, наполненная пуговицами от несуществующих одежд, ключиками от несуществующих комодов, алюминиевыми невесомыми значками.

Еще кипы рецептов — про еду, про рыбалку, про то, как выводить пятна. И с этих рецептов, вырезанных из газет и журналов или, может быть, написанных от руки, следует уже с самих выводить пятна, но это пятна времени, они имеют запах времени, бумаги скоро истлеют, и этим именно дороги нам.

Наконец собака запутала поводок вокруг дерева и остановилась. Старик отпустил ее, сам сник, сел на лавочку. Глаза его, которыми он всматривался перед собой, вблизи уже ничего не видели, но видели в иной глубине иные картины. И стало понятно, что он — старик. Рядом лежала газета, он раскрыл ее и забылся. Собака затрусила по газону, бежала сначала вслед Людочке, но та удалялась, подталкиваемая природою, не опускала рук,

чтобы приласкать, не видела будто бы вообще. И собака, чувствительная к равнодушию, отстала. Тоже села, свесив коричневые уши, пристроилась возле старика. И мир мог наблюдать их, дряхлых, обесцвеченных, изъеденных временем до самых своих теней. Вот тени собаки и старика посмотрели вслед Людочке, истаявшей карамелькою на горизонте. Вот они поднялись — и слабейшим порывом майского теплого ветра их сдвинуло с места, понесло, искривив бестелесно, разорвало на клочки, как дым, и рассеяло. Аллея была пуста.

\* \* \*

Людочке снился сон. Во сне она была совершенно одна. Она брела по лесу, который кутался еще в снега, еще зяб. Червоточины зияли, и в них кое-где томилось зеленое, жалкое. Оно корябалось внутри белую корку. Людочка переваливалась из одного влажного сугроба в другой, стараясь не наступить на зеленые коготки. Людочка как будто искала что-то — именно поэтому в сердце ее было ощущение одиночества. Она заглядывала в проталины, тревожно поднимала глаза. Но ничего кругом не было и не было. Во всяких других случаях, когда оставалась она одна, ее вовсе не грызло одиночество, вокруг жужжало и стремилось все живое и неживое. И даже не столько люди, сколько деревья, скамейки, заборы, камни, запахи.

Но теперь она смотрела кругом в ожидании. А ведь известно: когда ждешь, все бывает опустошено самим ожиданием. Хорошо, если ты Пенелопа и по крайней мере знаешь в лицо того, кого ожидаешь. Или если ты работник коммунальной службы, то знаешь вполне определенно, что ждет тебя с приходом зимы или весны — лопнувшие батареи, намерзающий во дворах лед, потоп и нечистоты. А вот если ты женщина средних лет, если

у тебя нету никакого запечатленного памятью ожидаемого, то возможны всякие казусы. Дождешься чего-нибудь — а вдруг это не то, а вдруг оно просто шло мимо и присело возле тебя отдохнуть или остановилось спросить, как пройти на улицу Ленина. Или ты не заметишь того, чего ожидала, и не остановишь, не удержишь, не разглядишь сразу. И все, и жди снова. А вдруг завтра на тебя наедет автомобиль или ты смертельно подавишься яблоком?..

\* \* \*

Примерно такие мысли, кстати говоря, думала Катька со второго этажа, потому что познакомилась она давеча с мужчиной, неприглядным таким, но очень вежливым. Мужчина пришел за справкой в бюро технической инвентаризации, где Екатерина Витальевна за скромную зарплату отдавала долг обществу. И он преподнес Катьке букет не хухры-мухры какой, а самый настоящий, с блестками на цветах, завернутый красиво и с золотым бантиком. А еще коробку конфет, пьяных, вишневых, какие она и любила. Девки на работе к вечеру истекли слюной. Но Катька коробку не открыла, а цветы унесла домой.

И вот она поднималась теперь с цветами и коробкой и думала торжествующе, как щас откроет в квартире дверь и как звезданет мужу по морде букетом, чтоб все блестки на его бессовестной харе остались. А потом сядет пить чай с конфетами, и даже не пойдет исследовать спальню на предмет обнаружения чужих дамских волос, и даже принюхиваться к подлецу не будет. И она еще чего-то да стоит, для кого попало на такой букетище не разоришься! И Катька, выставив букет на вытянутой руке прямо перед собою, высоко задирая квадратные коленки, поднималась по лестнице. А потом вдруг

отвлеклась, так как услышала невесть откуда плач младенца. Младенцев до самого пятого этажа в их подъезде отродясь не водилось. И это было последнее, что она услышала, — удивленная, она потянулась навстречу звуку, нога предательски подвернулась. И Екатерина грохнулась с лестницы, успев взвизгнуть и подкинуть букет с коробкою. Они коснулись потолка и шмякнулись на пол. А Катька, упав, сломала правую ногу и на секундочку потеряла сознание, слегка ударившись головой, — но скорее от страха. Это было к счастью, так же как бьется на счастье посуда.

Многие необъяснимые затеи судьбы скоро раскрываются самым невероятным образом и безобразия жизни оказываются вдруг благодатью, просыпавшейся на нас. Катькину жизнь изменил этот перелом — кошмарный перелом, который болел, чесался под гипсом. Этот сладкий перелом, который преподнес ей на блюдечке все, чего ей не хватало, — любящего мужчину, хотя и неприглядного на вид.

На Катьку, которая имела соответствующую случаю умирающую физиономию, наткнулась Зинаида Каблукова. Соседи, постучав, обнаружили в Катькиной квартире мужа и постороннюю женщину — Олю Миклухо-Маклай. Катька, собрав последние силы, плюнула в бессовестные глаза подлеца, но недоплюнула и попала на постороннюю, а точнее, на свой халат, в который эта холера вырядилась. Потом приехала «скорая», забрала Катьку. А потом... А потом, ровно через сорок минут, Катькина жизнь изменилась полностью. Доктор мерил ей пульс, трогал ногу — но смотрел прямо в глаза. Это был тот самый неказистый, но вежливый мужчина, что в благодарность за справку, как настоящий джентльмен, принес ей цветы и конфеты. Наверное, его сразило такое совпадение, тем более что был он холост. Катька прямо на костыле переехала к нему. Все завидовали и



говорили: прям как в кино! Потом у них кто-то родился, и, кажется, даже сразу двое, если не трое.

Но это произошло через некоторое время. А тогда, сразу, Зинаида Каблукова и Леденцова Таня вытолкали постороннюю женщину из Катькиной квартиры и начали сильно стыдить ее мужа. Муж вяло отпирался, а потом вдруг повысил голос и выгнал женщин. Женщины тогда пошли к Зинаиде и выпили там вина — от стресса. А потом, осмелев от вина, позвонили в Катькину квартиру и всё высказали гаду в самых значительных выражениях. А потом пришла соседка Лидия, жена военного — за солью, да так и осталась. А сверху над их головами громко заходила в каблуках одинокая холера Оля Миклухо-Маклай, собиралась, наверное, куда-то. Таня, к алкоголю непривычная и потому ему податливая, взвилась от этих победных выдающихся звуков — и женщины отправились отмщать за Катькину, а заодно и Танину, повергнутую некогда Олей, поруганную честь. Да ведь и за Зинаидой и за Лидией тоже числились мужья, и кто знает...

Так что пока Людочка находилась в состоянии сна, снаружи происходили великие события.

\* \* \*

Осоловелое время задремало, когда зима в декабре притихла, шла слепым солнечным снегом. На катках восторженно приручали лёд дети. Самые смелые сигналы с незалитых горок или облизывали железные дворовые качели. Детям было хорошо. Взрослые кутались, кутались, но им было все холодно — и тем холоднее, чем теплее они кутались. Животный городской мир тоже зяб. Голуби, увеличившись вдвое, обживали низкие подоконники магазинов, домашние собаки танцевали на снегу, ничейные ожесточенно попрошайничали, а кош-

ки куда-то пропали. (Но в январе все втянутся в зиму: животные привыкнут к голоду, дети доедят остатки новогодних конфет, взрослые, согревшись, обнаружат по календарю близкую весну. Но это — потом.)

Поутру, пока еще сияет какая-нибудь запоздавшая звезда, все торопятся из дому, все опаздывают, обманутые темнотой и будильниками. Дети с рюкзаками похожи в темноте на горбатых карликов. Карлики проталкиваются в двери школы — и превращаются в принцесс и принцев.

На уроках принцы и принцессы дремлют тихонечко под мерное гудение учительского голоса, который тоже сонный, потому что Инна Ивановна или Тамара Петровна смотрели занимательный ночной сериал, а может, проверяли контрольные. Никто никому не мешает в эти дни. Только иногда нагрянет проверочная комиссия или руководство школы назначит открытый урок — и само сидит на этом уроке, глотая зевоту. Слышно даже, как дышат на подоконнике мягкие фиалки. Фиалки шевелят щетинками на толстых листьях и баюкают, баюкают. Нельзя в такие вялые дни смотреть на фиалки, а то можно убаюкаться и по-настоящему уснуть на уроке.

\* \* \*

В один из таких дней завуч Тамара Петровна задержалась в учительской и теперь дремала на диване, не в силах преодолеть полдневный сон. Снежинки ползли вниз по воздуху. А иногда, когда глаза завуча особенно слипались, снежинки, плоские и круглые, будто сделанные муравьями из крохотных бумажек, казались нанизанными на невидимые нити и покачивались. Тамара Петровна в мучительной и сладкой полудреме пыталась сосчитать их, но точное число никак не получалось. «Невероятно много! — с тихим восторгом снилось Тамаре

Петровне. — И скрипят!» Снежинки здоровались с завучем ласково и знакомо: здравствуйте, Тамара Петровна, как вы хорошо выглядите, какой у вас красивый платок на шею, такой нежный, наверное, китайский шелк? И во сне Тамара Петровна тихо хвасталась: да, муж привез из Китая, настоящий китайский шелк, дорогой. А снежинки ее тогда спрашивают: а как поживает Виктор Иванович? Не болеет? Работу не поменял? Тамара Петровна горделиво отвечала: повысили его, теперь он зам. А как учится Маша? Тамара Петровна не могла скрыть удовольствия: Маша у нас отличница! А вот, Тамара Петровна, не хотите ли чаю с конфеткой? Тамара Петровна восхитилась: с превеликим удовольствием! И открыла глаза, чтобы протянуть руку за конфетой в нужную сторону. Перед ней стояла Людмила Константиновна Георгинова, коллега, учительница младших классов, и улыбалась сокрушительно доброю улыбкою.

— Людмилочка Константиновна! — изумленно раскинула руки Тамара Петровна, окончательно проснувшись. Людочка в светлом вязаном платье была очень похожа на королеву снежинок. На столе, возле которого дремала Тамара Петровна, стояли три чашки и раскрытая конфетная коробка. Людмила Константиновна по привычке хозяйничала в учительской, хотя уже давно не бывала в школе. В учительской, впрочем, все осталось на своих местах, так что ей не составило труда найти и чашки, и чайник.

— Людмилочка Константиновна! — Тамара Петровна прижала теперь руки к груди и качала головой в нескрываемом умственном возбуждении. О скоропостижном, по собственному желанию и без объяснения причин, увольнении Людочки в школе не забыли, хотя и миновало теперь уже несколько лет. И Тамара Петровна оказалась беззащитна перед волной вопросов, обрушившихся на ее любопытный ум. Вопросы и

восклицания рвались, просились на язык: с чем пожаловали? Где это вас носило? Вот так явление блудного сына! Чего изволите? Откуда вы такая взялись? Ага, явились, не запылились! Тамара Петровна огромным усилием учительской воли сдерживала их. И сдержав, проговорила безобидное:

— Ой, вы меня так напугали!

Людмила Константиновна улыбнулась еще ослепительнее и весело представила:

— А это вот моя дочка, Танечка. Нам уже пять. Уже читаем вовсю и знаем действия.

Тамара Петровна подняла брови и привстала с дивана. Долго и сосредоточенно щурилась. Потом села и протянула руку к чашке. Чашка коротко звякнула о блюдец. Людочка добавила в чашку кипятку. И Тамара Петровна мелко отглатывала, а чуткая собеседница, почувствовав все невысказанные вопросы, подробно говорила о своей жизни: об Олеге Валерьевиче, о Танечке, обо всем, что она узнала за эти годы, и обо всем, чего хотелось бы ей еще. Она собиралась вернуться на работу. Тамара Петровна подносила ко рту кружку и при этом робко кивала. На нее наваливалось оцепенение, словно какое-то ядовитое животное укусило ее и теперь яд расходится по всему телу, по очереди останавливая жизнедеятельность органов и конечностей. Наконец гостья засобиралась — и ушла. Тамара Петровна сдвинула чашки, вытерла лужицу, натекшую из чайника, и подкралась к окну.

На школьной площадке возилась мелкота, сооружая снеговика. Старые кривые груши торжествующе держали воздетыми к небу ветвями детские ранцы и мешки с обувью. Тамара Петровна заметила на снеговике синее ведро, которого сегодня хватилась уборщица тетя Зоя. Мимо малышни по расчищенной дорожке ступала танцующим шагом Людочка Георгинова, в одной руке

## Б о б ы

она держала сумочку и яркий детский рюкзачок, помахивая ими непринужденно. Вторая Людочкина рука была неподвижна, чуть согнута в локте, а пальцы ее располагались так, словно сжимали другую руку. Она остановилась возле снеговика, аккуратно расслабила, будто бы высвободила, эту вторую руку и поправила на снеговике синее ведро, чуть съехавшее набок. Потом словно снова взяла кого-то за руку и пошла прочь от школы по грушевой аллее. Груши, словно из особого расположения, нежно сыпали на нее снегом. В школе прозвенел звонок.

# Тётенька и слон

*Всем без исключения Степанам Петровичам  
посвящается эта короткая повесть*

...А сегодня очень хочется рассказать одну замысловатую историю про нашего современника, замечательно-го Степана Петровича Тётеньку. Конечно, мы могли бы сочинить сентиментальную повесть о том, как Степан Петрович Тетенька повстречал прекрасную Людмилу Сергеевну Дяденька (надеюсь, читатель помнит, что женские фамилии такого типа не склоняются). Можно было бы описать их роман, как они поженились, как родились у них дети, взявшие двойную фамилию Дяденька-Тетенька — или наоборот, Тетенька-Дяденька, как угодно. Но это будет неправда. Тем более что жена у нашего героя уже имелась. Или могли бы наплести поучительную историю о тяжелом детстве Степана Петровича. Но ведь и без того ясно, что иным и не может быть это беспечное, полное радости время при такой-то удивительной фамилии. Однако мы предполагаем в тебе, читатель, ум пытливый, желающий постичь не только и не столько казусы быта, сколько тайны бытия. Поэтому с великим нашим уважением к читателю, а также к Николаю Васильевичу и Михаилу Михайловичу, не желая никого поучать или вводить в сентиментальный соблазн, поведаем правдиво и просто.

Итак, Степан Петрович Тетенька вышел из дому, когда утро только набирало силу. Лунный рогалик еще просвечивал в нежной синей высоте. Как человек твердых принципов и правил, Степан Петрович сначала умылся, ровно две минуты уделив очищению ротовой полости, гладко заправил постель, съел геометрически правильный бутерброд, украшенный веточкой петрушки, и только потом спустился на улицу. Собственно, на улицу он вышел на минутку — опустошить в зеленый облезлый контейнер розовое мусорное ведро. Нельзя жить новый день со старым мусором. Опустошив, поднялся к себе в квартиру и снова — о ужас! — лег спать.

Мы не можем ответить на вопрос, что побудило его улечься спать снова. Это, честно говоря, нас самих изрядно озадачило. Ведь Степан Петрович имел железобетонные устои, согласно которым вставал он всегда в восемь утра, будь то летний день или вьюжный зимний. Скорее всего, в этот раз он сильно не выспался, так как до позднего вечера гладил постельное белье, желая, чтобы к приезду жены оно пахло не только свежестью и чистотой, но и трудами человеческих рук. Или, возможно, он переутомился, играя половину дня в шашки сам с собою. Или вечерние новости произвели на него столь глубокое впечатление, что он ворочался до утра, представляя себе заседание большой восьмерки или космические старты. Впрочем, что бы ни было причиной его недосыпа, нужно сказать прямо — этакое поведение Степана Петровича было из ряда вон. А это навеивает нам авантюрную мысль: в этот день в жизни нашего героя должно бы произойти что-то необыкновенное.

Тем более что Степан Петрович, несмотря на свое глубочайшее почтение ко всему правильному и основательному, очень любил также все необыкновенное. Прямо скажем — тянулся к нему с детским задором.

Он загорался радостью, когда жена привозила с дачи этакий помидорище или морковку, формой напоминающую нижнюю часть женского силуэта, или когда обнаруживал он на книжной полке книгу со склеенными листами, которую никто до сей поры не прочитал. И он кидался читать фолиант — к слову сказать, книгой был справочник мастера холодильных установок — и приобретал неожиданные теоретические познания.

В его организме любовь к порядку и тяга к удивлению ничуть друг другу не противоречили. Даже напротив, чем больше узнавал Тетенька удивительных вещей, тем более крепла в нем привязанность ко всему правильному. И наоборот, чем более размеренную и четкую жизнь он вел, тем больше удивлялся посторонним вещам. Увидит дерево в лунном свете или кота на заборе, который смотрит на него, Тетеньку, будто человеческим взором, — и неделю ходит под впечатлением красот и чудес. Тягу к чудесному Степан Петрович всегда подкреплял научным фактом, со всяким трудным вопросом лез в мировую паутину...

Самой большой и неразрешимой загадкой на протяжении долгого времени оставался для Степана Петровича один природный факт: почему же слоны, огромные, неповоротливые, так хорошо плавают. Как же они загибают воду такими ногами-тумбочками? Непонятно. Степан Петрович изучал этот вопрос, но нигде не мог получить достаточно убедительного ответа. То есть ответы у научного сообщества имелись, но по сравнению с масштабом проблемы, которую развернул для себя Степан Петрович, все они казались какими-то ненадежными. Например: у слона много жира, вот он и плавает или — ноги у слона широкие, вот он и загибает ими как следует. Ну что это?! С одной стороны, слон, гигант суши, величие животного интеллекта, а с другой — жир. Тьфу что такое, а не ответ.



Разочаровавшись в научном объяснении, Степан Петрович устраивал народные опросы, мучая знакомых и родственников. Увы, никто не имел сколько-нибудь оригинального объяснения слоновьей плавучести. Въедливый натуралист однако ж не оставлял надежды проникнуть в тайну.

Дело жизни Степана Петровича было ничуть не удивительным и даже более чем прозаическим — он охранял склад готовой продукции. Не то чтобы ему это как-то особенно нравилось. Но охранять, по кодексу Тётеньки, было настоящим мужским делом. Склад имел правильную квадратную форму, что тоже приносило Степану Петровичу некоторое удовлетворение — его обязанностью было обходить территорию по периметру. Он выискивал дыры в заборе и забивал их дощечками, что также давало ему право честно смотреть в будущее. Да, признавался он себе, временами здесь скучновато, даже более того, от скуки выть хочется. Но духом не падал. Тем более что жизнь умудрялась и на службе преподносить Тётеньке удивительные вещи. Раз, прогуливаясь по периметру охраняемого объекта, он заметил в небе необычной формы облака. Они напоминали лежащие и сидящие фигуры. «У природы удивительное чувство юмора, — рассуждал Степан Петрович. — Как смешно видит она нас, людей. Ну ясно, мы для нее ничтожества, и больше ничего». Ему было так приятно думать о величии природы, что он забыл охранять объект. На следующее утро начальник потребовал написать объяснительную, потому что в дежурство Степана Петровича кто-то спер целый ящик готовой продукции. Степан Петрович очень расстроился, ведь железные внутренние правила предписывали держать слово — а исполнение служебных обязанностей (равно как и супружеских, общественных и других прочих) в его кодексе было записано под пунктом: «выполнение обещания». С тех

пор Степан Петрович утроил бдительность, не позволяя себе отвлекаться на службе.

Но все же вернемся поскорее к тому дню, который, по нашему мнению, сулил Тетеньке необыкновенные происшествия.

Итак, день выдался ясный и грозил к полудню сделаться жарким. Когда Степан Петрович проснулся окончательно, близилось уже к десяти часам. Он навел посредством компьютера справки о погоде, надел бодрые и аккуратные джинсовые шорты, майку, кепку козырьком назад, повесил на тело маленький цифровой фотоаппарат, замкнул обитую черным дермантином дверь и постучал к соседке. Соседкина дверь робко открылась, на стук просочился на площадку вихрастый курносый мальчик. Степан Петрович решительно взял его за руку, и они зашагали вниз, на улицу. Пошли прямо к автобусной остановке, а выйдя из автобуса, зашагали и дальше. Было воскресенье, и Степан Петрович шел воплощать свою заветную мечту.

\* \* \*

Может вы подумали, что заветной мечтой Тетеньки было украсть соседкиного мальчика? Тогда мы вынуждены вас разочаровать. Степан Тетенька был честным человеком и никогда ничего не крал. Более того, он был человеком законопослушным. Ни за что не переходил улицу на красный и даже на желтый. Ни за что не напивался вдрабадан и не хамил соседям. Ни за что не плевал жвачку на тротуар, а только в урну и считал, что за плевание жвачки в общественных местах нужно налагать на граждан крупный штраф. Некоторые вольнолюбцы даже сочли бы его слепым подчиненным государственной воли, деревянным, нерассуждающим человеком, заклеямили бы как врага свободы. Но и у

Степана Петровича насчет этих вольнолюбцев тоже имелось свое мнение...

Так вот, Степан Петрович долго и спокойно мечтал о довольно простой вещи. Он мечтал сходить в зоопарк. Но простенькая мечта все никак не могла осуществиться — для этого у него не было детей. А идти в зоопарк без детей Степан Петрович считал нелепицей, стыдобой и кощунством. Потому что разве не безобразие — Степан Петрович гуляет по зоопарку в шортах, рассматривает зверей, дразнит маргышек, кидает булки и морковки в пасть бегемоту? Чудилось в этом Степану Петровичу что-то неестественное. Будто бы проявление чувств на людях, а этого он себе никогда не позволял. С ребенком — дело другое. Приставленный к ребенку взрослый как бы при деле, не праздный гуляка, пусть он даже легкомысленно одет в шорты. Такой взрослый может со спокойной совестью кидать морковку в какую угодно пасть (признаемся, Тетеньке очень хотелось это сделать), как бы показывая ребенку правила прицеливания.

Накануне вечером Степан Петрович разложил гладильную доску, распределил белье по кучкам — наволочки с наволочками, полотенца с полотенцами, аккуратно плюнул на подошву утюга. Слюна подпрыгнула мячиком, зашипела, испарилась. И вот тут-то мечта подкатила куда-то к горлу Степана Петровича. Бороться с нею не было никаких сил. Он сию минуту загрустил синей грустью, от которой негры поют высокохудожественные блюзы, а все прочие банально хандрят, заражая все вокруг болотом. Но тут в квартире отключили электричество. А потом включили. А потом заискрила вдруг розетка. Степан Петрович метнулся выдернуть шнур, но запнулся и упал. И тут его осенило!

Нам, со своей стороны, кажется, что это были сигналы из космоса, которые время от времени слышит каждый, но не каждый способен им внять. Степан Петрович

оказался чутким приемником для космических сигналов. Организм его собрал весь возможный интеллектуальный ресурс — и родилось: сходить к соседке Анне и выпросить у нее ребенка взаймы. Тем более что жена Степана Петровича, которая ни в коем случае не одобрила бы такой поступок, еще в пятницу отбыла на дачу и до ее возвращения оставалось минимум часов десять. У нее были какие-то отдельные, не совсем понятные Степану Петровичу соображения относительно соседок репродуктивного возраста. Скорее всего, она ревновала ко всем женщинам, которые, по ее подсчетам, могли увести Степана Петровича, с тем чтобы родить ему ребенка. Она сама, кандидат в доктора каких-то технических наук, сделав достаточную карьеру в своем научном институте, начинала теперь иногда печалиться из-за отсутствия в их трехкомнатной благоустроенной квартире хотя бы одного ребенка — дабы оправдать социальный статус семьи для их со Степаном Петровичем долголетней связи. Но все же сама не спешила с решительными действиями. И завела пока что, на пробу, пекинеса.

А Степан Петрович был искренне увлечен своей жизнью — удивительными явлениями, шашками, книжками, пробежками, рыбалками. А еще — тайно и безнадежно, потому что в паспорте стояла отметка о данном им слове — Людочкой из соседнего подъезда. Из-за чрезмерной увлеченности жизнью дети так и остались для него малопонятной мелочью, сопливыми козявками. Когда во дворе выкатывался ему наперерез какой-нибудь представитель козявочьего племени, Степан Петрович сторонился — мало ли чего ожидать, вдруг укусит.

Таким образом если что в соседках и привлекало его, то меньше всего — способность к репродукции. Вот Людочка, например, нравилась ему из-за того, что в ее круглых больших глазах всегда удивительно четко от-

ражались окружающие предметы и сам Степан Петрович — когда здоровался с Людочкой утром возле мусорного бака. У нее тоже была привычка выносить мусор непременно утром.

Итак, Степан Петрович все рассчитал, прикинул, во сколько надо вернуться из зоопарка, чтобы успеть приготовить ужин для себя и супруги, и пошел договариваться с соседкой насчет ребенка.

Соседка Анна, обширная, кудлатая и одинокая работница банковской сферы, в это время пила чай и размышляла о превратностях своей холостой жизни. Степан Петрович пришелся весьма кстати — девать своего мальчишку в воскресенье Анне было совершенно некуда. Поэтому отдала она его с удовольствием. А сама стала строить планы, как провести выходной: для начала — поспать, как недосыпающей работающей женщине, а потом еще и сходить к подружке на булочки, а потом, может, и в кино и, кто знает, может, и на свидание...

«Вот сейчас заберу мальчишку и рвану в зоопарк», — радостно воображал Тетенька утром в воскресенье, доев бутерброд и принимаясь за веточку петрушки. «Вот сейчас, сейчас...» — предвкушал Степан Петрович, выходя из автобуса и волоча дитя за собою. А оно ныло, требуя сбавить ход. Но Тетенька не сбавлял. А оно ныло. А он бежал и бежал, перебирая короткими плотными ногами, будто на соревнованиях по спортивной ходьбе. Мальчик рассердился, вырвал из дядькиной потной ладони свою ручонку — и категорически отстал. Только тогда Степан Петрович удивленно остановился. Мальчик, этот разрешительный документ для входа в зоопарк, насупился, пыхтел, весь красный, вспотевший, злой. «Странное существо», — подумал брезгливо Степан Петрович. Но ход сбавил. Он был в пяти метрах от осуществления своей мечты.

Козьявка, которую арендовал Степан Петрович, входила уже в разумный возраст, и от этого на лице у нее проступало нагловатое выражение. Но Степан Петрович не умел различать выражения лиц козьявок, не было опыта. Поэтому он счел, что мальчик родился с таким наглым выражением лица, и прикинул, что отец его, должно быть, подлец и негодяй — потому, что мальчишка нисколько не походил на мать, женщину милую.

Степан Петрович пообещал ребенку столько мороженого, сколько тот сможет съесть. Тогда мальчик уверенно и крепко вцепился в руку Степана Петровича — и тот опять удивился.

\* \* \*

...Не хотелось бы отвлекаться от основного повествования, поскольку оно достойно самого пристального внимания. Но мы чувствуем, что читатель уже несколько напряжен. И догадываемся, что он с минуты на минуту ждет, когда же начнет, по выражению классика, стрелять то самое ружье. Говоря проще, когда же начнутся мытарства героя, связанные со столь необыкновенной его фамилией. В ином случае отчего бы нам не назвать его Степаном Петровичем Егоровым, или Степаном Петровичем Петровым, или, если уж наше авторское самолюбие страдает от затасканности подобных фамилий, Степаном Петровичем Козыдло? Да и вообще современное общество дает нам невиданный размах в свободе поименования. И назови мы героя Джоном Смитом, или Брюсом Уиллисом, или хоть Кларой Цеткин — это будет так же обыкновенно и никто не усомнится, что он — полноправный российский гражданин.

Но, напомним, мы стараемся, следовать жизненной правде. А правда в том, что Степан Петрович своей фамилией гордился. И гордился вопреки всему. Вот, ска-

жем, занимался он восточными единоборствами, делал успехи — но тренеру было странно, что на кубке области, а то и страны объявят: первое место занял Степан Тетенька, клуб «Восход». Поэтому спортивных успехов юноша не сделал, участвуя, по воле тренера, только в мелких соревнованиях. Однажды на состязаниях, видя, какой он ловкий и сильный, к нему подошел бравый майор и предложил поступить к нему в военное училище. Степан аж загорелся от счастья — как мужественный юноша, он, конечно, хотел защищать родину.

— Как фамилия, курсант? — бравый майор уже достал записную книжечку.

— Тетенька — четко, вытянувшись по стойке смирно, отрапортовал юный Степан Петрович. Майор недоуменно поднял бровь, прикидывая, не пытаются ли его оскорбить или, может, перед ним не парень, а девица — их в наше время не очень-то разберешь.

— Моя фамилия Тетенька, — гордо повторил юноша.

Майор все понял и отчего-то смутился. Пробормотал: ну ничего, ничего. И отошел. И фамилии не записал. И его можно понять: сержант Тетенька, лейтенант Тетенька — это еще куда ни шло, но майор Тетенька, полковник Тетенька, а тем более генерал Тетенька — это уже форменное безобразие. Не разберешь, где тетенька, а где генерал.

К слову сказать, жена Полина Ромуальдовна посчитала, что по ее имени и так ясно, что она женщина, зачем же входить в подробности, да так и осталась Огурцовой.

Так почему бы Степану Петровичу не сменить фамилию, в таком случае? Был бы он Степан Петрович Огурцов, чем плохо? Справедливое замечание, уважаемый читатель. Но мы повторяем, Степан Петрович был человек твердых, мы бы даже усилили — твердокаменных правил. Степан Петрович совершенно не обижал-

ся на тренера и абсолютно не расстроился из-за того, что майор не записал его в свою книжечку. Возможно, просто не понял, что фамилия сыграла с ним злую шутку. А вот решение жены его, конечно, огорчило. Ну вот, подумал он, женщина никогда не видит дальше своего фантастически хорошенького носика — такая глупая овощная фамилия останется теперь за ней на всю жизнь. А его гордая фамилия Тетенька, с которой он родился, с которой и подвиги совершит, если придется, и в гроб ляжет в свое время, такая фамилия могла бы украсить анналы технических наук, в которых Полина Ромуальдовна была, без сомнения, дока.

Может быть, именно благодаря фамилии Степан Петрович мог позволить себе твердые принципы и счастливо ясный взгляд на мир. А это, знаете ли, роскошь, доступная в наши неустойчивые времена очень немногим.

\* \* \*

...Итак, Степан Петрович и его маленький спутник подошли к зоопарку. Степан Петрович подумал, что если мальчик потеряется, то нужно будет его покричать, и спросил:

— Как твое имя?

Мальчик назвался Славиком и потащил дядьку к павильончику с мороженым.

Самым желанным местом в зоопарке для Степана Петровича был, конечно же, слоновник. Или, как сам Степан Петрович именовал слоновий дом, слонярник. Он исходил из того словообразовательного казуса, что крупный, сильный, превосходящий других слон есть, по правилам русского языка, слоняра. Именно самый большой слон был пределом интереса Степана Петровича — поскольку чем больше слон, тем, по логике



Степана Петровича, он должен хуже плавать. Но наука твердит о противоположном!

Естественно, он не мог наблюдать в слонярнике плавающих слонов, но хотел последить, как они движутся, какая у них шкура, как устроены ноги. Короче, хотел познакомиться с природными данными гигантов — с тем чтобы в дальнейшем делать эмпирические выводы о плавательных способностях самых больших сухопутных животных.

Славик не разделял страсти к слонам и предпочел, конечно же, обезьян, на которых был сам умопомрачительно похож. Свое пятое мороженое он с восторгом скормил макаке с наглой рыжей мордой и категорически отказывался отходить от клетки. Слоны жили в глубине зоопарка, а наши герои за час не продвинулись дальше нескольких вольеров с обезьянами, которые заманивали посетителей на входе. Давно подмечена странная тяга наших сограждан — и не только детей — к этим вызывающим существам. Зверюшки не зверюшки, человечки не человечки. Есть в них какая-то назидательная хитреца природы, которая в какой-то момент заставляет стыдливо отворачиваться от клетки с милыми созданиями — в тот момент, когда они особенно похожи на нас. Вот и Степан Петрович хоть не особенно жаловал обезьян, но стоял и смотрел на них, не отрываясь. Когда парочка мартышек нежно искала друг у друга насекомых, а найдя, сосредоточенно их поедала, наш герой вспомнил свою супругу Полину Ромуальдовну. Фу, содрогался он, если бы они с Полиной Ромуальдовой в приступе заботы нежно выискивали друг у друга, скажем, вошь... Отчего бы вдруг в голову Степана Петровича пришли такие дикие мысли? Отчего представил он Полину Ромуальдовну в такой странной обстановке? Не от того ли, что она смахивала на мартышку? Зная о жене Степана Перовича абсолютно все, заверяем, что от

мартышки в ней не было ни одной черты, к тому же она уверенно носила очки и была блондинка, хотя и не натуральная.

Непредсказуемый зигзаг мысли Степана Петровича мы оставим на его совести. Хотя, к чести Степана Петровича, стоит сказать, что подобная нелепая чудаковатая мысль, как обычно, подстегнула в нем волю к порядку и он решил на обратном пути непременно купить жене цветов — то есть поступить так же, как на его месте поступил бы любой приличный муж. Он видел, как бабушка возле оградки зоопарка продавала крупные садовые ландыши.

Когда Тетенька отлепил Славика от обезьяньей оградки, воздух в зоопарке уже начал закисать от испарений и солнца. Мужчина и мальчик пробирались мимо тигров, волков, бегемотов. По дороге отправили в пасть живой цистерне по маковой булке, поскольку моркови поблизости не нашлось. Потом Степан Петрович прочел надпись «Кормить животных строго воспрещается», покраснел и потащил Славика подальше, в глубь зоопарка, где было значительно меньше народу. По дороге мальчик наслаждался видами, дразнил хищников и пакостил, писая в утиный водоем, Степан Петрович находился во власти стыда. Он был буквально выбит из колеи своим проступком, хотя и совершил его по неведению. Незнание закона, однако ж, не освобождает от ответственности — это Степан Петрович знал как дважды два. Он пытался дать оценку своим действиям, определить степень своей вины, в нем работал внутренний следователь — даже два, классических: один хороший, другой плохой. Один его порицал и призывал раскаяться, другой твердил, что все-таки преступление не велико и надо бы себя простить. Славик шнырял под ногами и мешал работе внутренних следователей, снова и снова требуя мороженого.

Степан Петрович, впрочем, так и не успел принять сторону того или другого следователя, поскольку уткнулся носом в огромный вольер с низкой загородкой. В глазах его помутнело — так он досадовал на себя за опрометчивость: ведь мог же, мог догадаться, что кормить зверей нельзя, что питаются они строго по рационалу! Это ведь государственное и научное учреждение! Что если, не дай бог, кто-нибудь задумает отравить бегемота! Или... или слона! Боже, боже! Степан Петрович поднял глаза к небу. На него плыло серое облако, дождевая жирная и дряблая туча и помахивала перед собою длинной серой кишкой, а по обеим сторонам этой кишки трепыхались неровные, оборванные кожистые крылья. Тетенька не сразу понял, что перед ним.

И вот в этом месте, именно в тот момент и произошло то самое, что мы с полной уверенностью могли бы назвать необыкновенным происшествием: сознание Степана Петровича, так же как и его глаза, замутилось — и вновь прояснилось. Обычно так протирают очки — подышат, а потом протрут рукавом или платочком, у кого что найдется. Вновь проясненное сознание Степана Петровича фантастическим образом искажало действительность. Мир потерял обычную геометрию, деревья стали кривее — но красивей, выше и зеленее, небо разлилось безграничной кляксой, но стало синее и глубже. Звери смотрели на Степана Петровича разумно и узнающе, вот, мол, ты, Степан Петрович, какой, а мы тебя ждали, ждали, а ты все не приходил, приятно теперь познакомиться. И теперь не отдельные вещи питали удивлением душу Степана Петровича, а самое существование вещей. Ведь раньше он, например, не задумывался, что оно такое — небо, а только увлекался рассматриванием на нем замысловатых облаков. Про

деревья он раньше никогда не думал, насколько стары они и что могут помнить чьи-то прикосновения, а только удивлялся прямизне веток, вычурности листвы. Теперь он будто видел на коре отпечатки рук живших когда-то людей. А ногами боязно переступал — парк раньше был кладбищем, и под землей клубились неведомые энергии телесного распада. И все камешки, и все песчинки и лучики слились в бесконечное движение, и от этого Степану Петровичу сделалось с непривычки дурно. А может, его хватил обыкновенный солнечный удар.

Намочив в питьевом фонтанчике носовой платок, Степан Петрович сел на лавочку, наложил платок на лицо и замер. Прохлада приятно затревожила щеки. И в голове вроде просветлело. Но все же конкретная мысль никак не могла сформироваться в его мозгу, всё только текучие образы, которые он пытался уловить. А ведь удивительное он укладывал на полки своей жизни именно конкретными мыслями, имевшими правильную форму. И полки висели правильными рядами. И были аккуратно выкрашены казенной зеленой краской.

Подошел Славик, который уже отдразнил все окружающее живое, залил утиные водоемы мочой и теперь, утомившись, подошел законно требовать следующей порции сладкого. Трижды позвал он дядю Степу. Но дядя Степа, похоже, уснул под своим сопливчиком. Славик поднял камешек и метнул в голову сидящего.

То ли Степан Петрович метафизически наследовал Ньютону с его яблоком и Славик этим воскресным днем стал рукой Провидения, то ли вибрации от удара камня в лоб благотворно повлияли на мозг. Как бы ни было, но конкретная спасительная мысль пришла: что он, Тетенька, охранник склада готовой продукции, человек энциклопедических знаний в области холодильных установок, до этой минуты знал о слонах? Ни-че-го!

Хм, довольно странная мысль, не кажется вам? Вся сложная гамма чувств, эмоций и размышлений, которые испытал Степан Петрович с того момента, как врезался в слоновий вольер, и до того, как очнулся от удара камешком, всё было сведено к одной правильной, выкрашенной зеленой казенной краской мысли: Степан Петрович Тётенька ничего не знал о слонах до этого воскресенья.

Но спешим обратить ваше внимание, читатель, что за этой фразой, в ее тени, притаилось гораздо больше, чем в ней самой. Подумайте только, что значит: ничего не знал. Ведь признавать ничтожность своего знания учил, по свидетельству Платона, еще великий Сократ. Ведь Степан Петрович этим «ничего» объясняет нам, что ему открылось вдруг многое. А в интересующем его вопросе о плаванье слонов — может, даже все до конца. И что в этом «многом» для Степана Петровича скрыто важное, возможно, даже смысл жизни.

...Ну кто, кто опять отвлекает, дергает нас за рукав?! О, это нетерпеливый зловредный читатель... Ах еще и писатель?! Прискорбно... Еще и с филологическим образованием?! Ну тогда точно начнет сейчас требовать, чтобы стреляло наконец это несчастное ружье... Что? Почему не стреляет? Не заряжено...

\* \* \*

— Ни-че-го, — удовлетворенно произнес в пространство Степан Петрович.

— Дядя Степа, чего ничего? — встревожился козявка, подозревая, что мороженого больше не будет. И заныл: — Давай купим еще, ну давай...

Степан Петрович отодвинул Славика таким широким и уверенным жестом, что мальчик понял серьезность положения и предпочел спрятаться за ближайший столб, переждать.

Потом он рассказывал матери, что испугался, когда глаза у дяди Степы сделались безумными и выпучились, как у лягушки, и он долго-долго стоял с такими вот выпученными глазами. Но мы хорошо знаем Славику и смеем заверить, тем самым обеляя репутацию нашего главного героя, что если мальчишка испугался, то только самую малость. А когда оказался под защитой столба, то замер и приготовился ждать, а не выкинет ли дядя Степа чего-нибудь эдакого. Он, как и любой малолетний прохвост, знал по опыту, когда от взрослых следует ждать «эдакого».

Попробуем заглянуть в затуманенное сознание Степана Петровича и выяснить все-таки, что же стало причиной его искривления. Это очень важно. Потому что, когда общество лишается своего трезвомыслящего члена, который не переходит улицу на красный, не изменяет жене и старательно выполняет служебные обязанности, писатель не имеет права обойти молчанием это скорбное событие. Тем более что дальнейший поступок Степана Петровича Тетеньки вообще ни в какие ворота не лезет и запротokolирован в райотделе милиции и в штабе городского управления внутренних дел.

Итак, когда Тетенька поднял подернувшиеся пеленой раскаяния глаза, казнясь за две булки, скормленные по его воле бегемоту, то подумал, что приближается гроза. Небо затянуло густым серым — так бывает, когда гроза зреет моментально и выкидывает белые тонкие молнии, похожие на паучьи лапки. Но вроде грозы не обещали, да и слишком внезапно наплыли эти тучи. Какие же все-таки серые! Надо же! Природа всегда выкидывает коленца, вот даже грозой умудряется удивить, а ведь он уже сорок три года живет на свете! — сделалось приятно Степану Петровичу.

И вдруг увидел он у самого носа шевелящийся серый шланг, или канат, или даже скорее пожарный ру-

кав. И крыло, обтрепанное по краю. И маленький карий глаз. Это был, само собою, слон. И никакой грозы, само собою, не собралось над головами посетителей зоопарка. И то, что Степан Петрович принял за явление стихии животное слона, — сиюминутная ошибка, которая тут же выявлена сознанием и исправлена: Степан Петрович видит слона. Но мы обращаемся ко всем, кто когда-либо влюблялся. А поскольку таких людей большинство, то надеюсь, дорогой читатель, ты примешь дальнейшие объяснения за чистую монету. Со Степаном Петровичем произошло то, что происходит со всеми влюбленными.

Если вы подумали, что сейчас мы станем рассказывать небылицу, будто Степан Петрович влюбился в слона, то признаёмся заранее, что обманули ваши ожидания. Слон ему вблизи даже совсем не понравился — морщинист, неопрятен. Именно так признавался потом в документах Степан Петрович. Дело в другом. Он принял слона за стихию и был покорён и удивлен ею. И теперь, когда узанным в роли стихии оказался слон, заочно уважаемый Тетенькой в числе всех других слонов мира, громадность стихии перенеслась на живое существо — так великое чувство любви переносится на предмет, который всегда, безусловно, мельче и проще, чем в воображении влюбленного. Но если любовники могут прозреть, обнаружив мелкость, а то и ничтожность своего предмета, то дело Степана Петровича осложнялось тем, что слон был фигурой крупной и молчаливой. А теперь Тетенька видел в нем не только тяжелое животное, которое по чудесной логике природы способно преодолевать большие расстояния вплавь, но саму Стихию.

Что же он, Степан Петрович Тетенька, знал до этого дня о слонах? Ни-че-го. Он видел теперь не отдельные вещи в мире, но сам мир, в котором взаимосвязь вещей была животворна. Удивление в обыденном, самом про-

стом его виде, в том самом, к которому Степан Петрович давно привык, оказалось бессмысленным, глупым, сентиментальным аханьем. Теперь удивление порождало само существование (читайте как хотите). И в слоне проявился весь этот сложный мир. И это был уже не слон — а то, о чем Степан Петрович не знал ни-че-го.

Когда широким жестом руки наш герой задвинул Славика за столб, когда встал и двинулся к толстой сетке слоновьего вольера, сам собою в голове Степана Петровича решался — и решился! — вопрос о плаванье слонов. И в этом вопросе уже не было удивления, но существовала справедливая бесконечность круговорота вещей и энергий. Мир ожил. И Тетенька понял, что сейчас он может совершить только один правильный поступок. Слоны жили почти на краю зоопарка, дальше, за забором, густели ивовые заросли, а по утрам здесь стояли туманы от узловатой, в островах, широкой и довольно глубокой реки, на берегах которой и раскинулся большой город.

\* \* \*

Через некоторое время после описываемых событий, может быть, недели через две, в Заречное отделение милиции нетрезвый пенсионер гражданин Терентьев принес огромный предмет, требуя выловить всех мутантов, которых нынешнее правительство поразвело на горе мирным гражданам.

— Я имею права! — кричал пенсионер, испуская спиртовые испарения, как утюг испускает водяной пар. — Я не хочу быть съеденным заживо! Это зачистка социально неблагополучных территорий! Это геноцид! Правительство в отставку!

Милиционеры оторопело смотрели на Терентьева, которого знали здесь как облупленного еще со времен



ЛТП. В другом случае они поместили бы его на пару часиков в обезьянник. А то вызвали бы наркологическую «скорую», чтобы та отловила белок в голове пенсионера. Но их очень смущал предмет, который достал гражданин Терентьев из мятого пакета. Молчание затягивалось.

— Кость! — победительно сказал Терентьев, указывая рукою вперед, точно как вождь мирового пролетариата. Обнаружив смущение вечных своих гонителей, он злорадствовал про себя: вот вам! Будете меня еще в кутузке держать. А вслух кричал:

— Долой, долой!

Действительно, то, что принес Терентьев, было похоже на кость. Но только похоже — слишком уж велико.

— Гипсовая. У меня сынишка в художественном учится, у них чего только нету, — пробормотал неуверенно седоватый милиционер.

— Динозавры, что ли, завелись? — неуверенно хихикнул другой, молоденький.

Терентьева погрузили в «бобик» и повезли отыскивать место, где был им поднят вышеозначенный нераспознанный предмет. Сам предмет отослали экспертам.

Терентьев место нашел легко — на краю города, на пустыре, заросшем полынью и кучами мусора. В мусоре тут же откопали еще пару больших белых предметов, но другой формы. Расследования, однако ж, не потребовалось. Через пару часов вся городская милиция знала о том, что найден пропавший слон — точнее то, что от него осталось.

В землянках на пустырях, которыми, как лишаями, был покрыт Заречный район, отловили нескольких бомжей, которые со страху подробно поведали историю «охоты на мамонта», показали запасы мяса и даже поделились рецептом по засолке его впрок. Слона заваляли в тот же день, едва он пересек реку. Всю ночь разделявали тушу и мясом одарили всех своих, и еще

осталось — отвезли как гостинец жителям городской свалки.

Досталось всем помногу. Мясо продавали на городских рынках, предлагали знакомым. Почти обогатились. Из костей хотели наварить холодца, но посуды такой не нашли, которая могла бы вместить громадные кости. Поэтому и выкинули ценный продукт. Но потом сожалели, очень сожалели. Можно было на части распилить.

Бомжей тот же час закрыли в кутузке. Вызвали следователя. Бомж Гряба, бывший лаборант в институте географии, описал следователю процесс ловли.

— Это, понимаете ли вы, способ этнографический, известным некоторым — и весьма диким — племенам знойной Африки. Осуществляется он с помощью тонких веревок, завязанных особыми узлами. О, если бы вы видели, как грандиозно выглядит ловля слонов в саваннах черного континента, когда красно-желтый шар раскаленного солнца наполовину уже опустился за горизонт. На его фоне слон и люди, стремящиеся поработить гиганта и попросту его съесть или продать нелегально куда-нибудь, выглядят черными силуэтами, как будто нарисованными на какой-нибудь древней вазе. Я не удивлюсь, если наши с вами предки занимались ловлей слонов, да-с, — Гряба выразительно поднял кверху длинный грязный палец. За невероятно длинные пальцы его и прозвали Грябой — вроде как не руки, а грабли.

— Но-но, ты не обобщай — повысил голос следователь. Он и его соратники по правоохранительной работе внимательно слушали Грябу, вспоминая, как месяц назад по тревоге, поднятой директором зоопарка, трое суток безрезультатно обследовали они весь город на предмет исчезновения животного. Слон как сквозь землю провалился средь бела дня. Дело приобретало размах скандальный, директор зоопарка давал вопиющие интервью на телевидении, в связи с чем милицей-

ское начальство ожидало «по шапке» — за бездействие. И вот на тебе, слона-то съели. В любом, значит, случае зря искали.

Следователь опросил еще нескольких бездомных, а также бичей, проживающих в вонючих лачугах частного сектора, а также парочку дворников, а также еще кучу всякого народу. Зареченский народ, неприглядный сверху, но внутренне справедливый, выразил полнейшую солидарность, признав съедение слона действием неэтичным — вроде как сожрали общественное достоинство, внушающее уважение размерами и редкостью. Но с другой стороны, бесхозный слон может наделать бог знает сколько убытку тому же государству, не говоря уже о заречных жителях. Он и так разрушил одну землянку. А землянка была капитальная, досок на нее много пошло, трубу от печки слон непоправимо погнул. И где людям жить? А сколько огородов в частном секторе мог потоптать? И счастье, что только два потоптал и семь заборов повалил — уж больно улочки узкие, собака и та еле проходит.

Следователь уже изрядно устал. И все-таки ни на шаг не приблизился к разгадке — как же слон из надежного вольера переместился в Заречный, на другой берег. Река широкая, брода нигде нет. Надо сказать, что следователь не имел представления о плавательных возможностях слонов. Более того, он откровенно заблуждался, полагая, что гора кожи и жира не может передвигаться по воде иначе, как в клетке на океанском судне. Эту картину еще в детстве он видел в каком-то фильме. Так она и застряла в нем психологическим комплексом. Следователь был непрошибаемо уверен, что слона украли и в Заречный привезли на машине. И в этом направлении работал.

Чуть позже он позвонил жене, с прискорбием сообщил, что придется снова ехать в зоопарк, опрашивать

администрацию, поскольку преступление пока не поддается раскрытию. Супруга стала возмущаться, в трубке завизжали — наверное, опять подрались дети. Жена что-то гавкнула в последний раз, и раздались короткие гудки. Следователь аккуратно опустил свою трубку на красненький телефонный аппарат, со вздохом подумал, что, наверное, сейчас подруга жизни оделит детей подзатыльниками, а потом, вне всякого сомнения, своевременно накормит их обедом. А он тут беседует с отбросами городского дна. Чертов воскресный день!

\* \* \*

Бомжам для морального оздоровливания прописали исправительные работы — по очистке зареченского пустыря от мусора. А пока они отработывали сожранного слона, по городу разнеслась весть о найденных костях. Газеты сокрушались по поводу утраты габаритного выставочного экземпляра, прикидывали, сколько денег нужно, чтобы купить нового, спорили, кто будет гасить зоопарку убытки — мэрия или администрация района, где и произошло преступление.

\* \* \*

Степан Петрович тем временем охранял склад готовой продукции. Добросовестно ходил себе с пистолетом вдоль забора. Только теперь он уже не радовался сосредоточенно пленительным особенностям природы и не разглядывал мечтательно облака. Жизнь его претерпела изменения. И теперь он смотрел куда-то внутрь себя.

Полина Ромуальдовна отмечала, что муж стал рассеян, по утрам его всегдашний бутерброд не радовал свежей зеленью, да и форму приобрел косоугольную. Но даже и эта достойная женщина не умела постичь всей роко-

вой глубины происшедших изменений. Да и сам Степан Петрович не думал, что теперь он по большому счету уже не тот Степан Петрович Тётенька, а совершенно другой Степан Петрович, хотя по-прежнему, безусловно, Тётенька.

Мы, нахально пользуясь авторским правом кроить и перекраивать историю как вздумается, опять вмешаемся в повествование и расскажем о том, как Степан Петрович получил страшное известие о кончине слона и что было с ним потом.

Когда Степан Петрович и насытившийся мороженым Славик вернулись домой, было довольно поздно. Степан Петрович сдал Славика матери. Анна после бурно проведенного дня не имела любопытства расспрашивать сына о походе в зоопарк. Славик молча поужинал, потаращился в телевизор и уснул. Под подушкой он поместил новоприобретенное богатство — от Степана Петровича он получил денег на неделю безбедного существования возле ларька с мороженым и жвачками. Степан же Петрович поблагодарил Анну, умолчав об испытаниях, которым подверг Славик обитателей зверинца. Потом ушел к себе в квартиру, где, поужинав, также лег спать, поцеловав вернувшуюся с дачи жену. Поскольку произошло это в восемь часов вечера, а Степан Петрович всегда укладывался спать в десять, Полина Ромуальдовна забеспокоилась и, волнуясь за мужа, выпила на ночь три бутылочки валериановой настойки.

А утром Степан Петрович впервые за многие годы супружества забыл положить на бутерброд веточку петрушки. Полина Ромуальдовна взволновалась, кинулась было к шкафчику с лекарствами, но валерьянки больше не нашла. Вы, может, упрекнете ее в слабонервности, даже в истеричности. Но ведь она, в отличие от нас с вами, даже и не знала, что Степан Петрович ходил в

зоопарк. И позже, когда Полина Ромуальдовна читала в милиции бумагу, написанную чужой рукой со слов ее мужа, волосы на ее голове шевелились от мысли: как легко безумие уничтожает прекрасную человеческую личность. Степан Петрович надиктовал: «Я, Степан Петрович Тетенка, паспорт номер такой-то, невоенно-обязанный, пришел в зоопарк с целью ознакомиться с выставкой животных. Цели похитить слона изначально не имел. Похищение произошло в связи с помутнением сознания».

Полина Ромуальдовна поплакала в протокол, размягчила и бумажку, и сердца милиционеров, которые тоже думали, что вот мужик попал как кур в ощи́п, свихнулся, видать, от солнца. Припомнили, что жара в тот день стояла страшная.

Вернемся, однако же, к Степану Петровичу, который после визита в зверинец не вспоминал о слоне две недели. В сердце его царило приятное и необъяснимое смятение. Рассудок подстраивался под новую форму существования души. К концу второй недели искривление сознания уже не доставляло особенных неудобств. Степан Петрович за это время успел передумать о многом — обо всем, кроме слона. В голове возникали самые разные картины из детства, юности и зрелости. Он переоценивал ценности и на более точных весах взвешивал свои поступки. Но слона его память почему-то не транслировала, словно выбросила или потеряла.

И тем страшнее было для него получить печатную новость. Полина Ромуальдовна принесла ее из института в виде газеты, где первая же страница рассказывала о случае казусном и вопиющем: украденное животное слона поймали и съели неблагополучные горожане. Подумать только, сколько мяса! Полина Ромуальдовна как раз доставала из супа большой кусок говядины и размещала в тарелке мужа. Степан Петрович хмуро посмотрел

на жену, аккуратно, не торопясь, свернул газету, сунул в карман форменной куртки и, ни слова не говоря, вышел из квартиры, оставив удивленную Полину Ромуальдовну стоять с открытым ртом и полной парующего супа тарелкой в руках. Снизу на тарелку смотрела, обливаясь слюной, мелкая рыжая собачка пекинес, которую Полина Ромуальдовна воспитывала вместо ребенка.

Придя на службу, Степан Петрович разгладил газетный лист на обшарпанном столе и прочитал. И задумался. И в задумчивости вдруг вспомнил все.

Он видел в своем воспоминании этого слона, который гордо и плавно, без усилий, точно зеленую бумагу, прорвал ивовые заросли и, не останавливаясь, вошел в воду. Степан Петрович остался на скользком, поросшем травой берегу и смотрел, как слон, выставив над водою хобот, медленно плывет к огромному раскаленному солнцу. Солнце облизывало противоположный берег, плотно заросший зеленью. И слон будто уносил с собою в неведомые счастливые края, на тот берег, весь мир. Уносил, спасал его от ржавых клеток, от сеток вольеров, от зарешеченных окон, от человеческих условностей и общественных ценностей. Слон спасал мир от зеленых полочек в сознании Степана Петровича. Он растоптал полочки и теперь окончательно освобождал его — и миллионы других таких же Степан Петровичей, которые только и делали в жизни, что подменяли необъятное прекрасное удобным прекрасным и расточали себя по пустякам.

Когда деревья на том берегу сомкнулись и слон исчез, Степан Петрович посмотрел на часы, вернулся к вольеру, отлепил Славика от столба и они пошли прочь из зоопарка. Степану Петровичу отчего-то было спокойно и хорошо...

Теперь же перед ним лежала печатная новость. Степан Петрович думал над ней. Ах, если бы слон для него

был, как и для всех, толстым экзотическим животным, которое, переминаясь с тумбочки на тумбочку, уныло машет ушами и тупо пережевывает морковку! Но, увы (а может быть, и к счастью), романтическая душа Степана Петровича, которая теперь жила вразрез с квадратом разума, наделяла слона теми самыми качествами, какими могли его наделить туземцы Берега Слоновой Кости. И он не думал о гибели слона, словно подразумевал это само собой разумеющимся и даже необходимым. Он сожалел о тех, кто сожрал животное без оглядки и зазрения совести. Они увидели в слоне всего лишь бесформенную кучу еды, всего лишь повод наполнить желудок. Степан Петрович не порицал их. Он даже понимал — и думал, что, будь он там, на том берегу, и сам претендовал бы на часть добычи. А уж как рада была бы Полина Ромуальдовна! Степан Петрович вспомнил тарелку с куском мяса, которую жена собиралась поставить перед ним на стол, и его передернуло. Где взяла она это мясо? Да, да! И он бы жрал, с аппетитом, часть мира, который приоткрылся ему. Он бы жрал самого себя! Степан Петрович подумал, что если человек захочет есть, то съест всё — и оставит пустошь. И себя — и останется мокрое место. И он, Степан Петрович Тетенька, такой же в точности оглоед.

Тогда Степан Петрович свернул потуже газету, опустил комок в карман и, бросив без пригляда склад готовой продукции, отправился в милицию.

\* \* \*

Следователь, ковыряя карандашом газету, которую расстелил перед ним Тетенька, устало спрашивал уже в десятый раз:

— Вы что же, утверждаете, что слон мог переплыть такую большую широкую реку?



— Да.

Тетенька отвечал спокойно, но глядел куда-то в стену, и это настораживало следователя.

— Значит, утверждаете, что переплыл?

— Утверждаю.

— Утверждаете, значит... Расскажите, где вы взяли машину для перевозки животного?

— Попробуйте мне поверить. Слоны умеют плавать.

— Мы не в церкви, — выдыхал следователь утомленно.

Он все допрашивал и допрашивал Степана Петровича. Добивался правды о том, как при свете дня удалось погрузить слона в машину и вывезти через весь город в Заречье.

И главное, он хотел знать — зачем, зачем, с какой целью! Все, что рассказал Степан Петрович и что было, как мы с вами знаем, чистой правдой, для следователя выглядело гнусной закоренелой ложью. «Нет, братец, шалишь! Выведу тебя на чистую воду!» — кипел про себя следователь. Но внешне оставался вполне любезен.

— Итак, вы утверждаете, что слон сам переплыл реку...

Наконец Степан Петрович, сообразив, что разговор зашел в тупик, вспомнил про Славика.

...Славик утер нос и не заставил себя долго ждать с маленькой, жалкой, щенячьей мстью, какую дети мстят взрослым за презрение. В Славике запищали маленькие подлые птички, требующие рассказать всю правду. И Славик, нащупывая в кармане штанов последние монетки от щедрого подношения соседа, важно изрек:

— Я видел, как он слона выпустил.

Анна, которая сопровождала сына, округлила глаза, схватила Славика и долго его рассматривала. Искала,

наверное, дефекты, которые могли появиться после общения со странным антисоциальным, а то и сумасшедшим соседом. Славик, которому на секундочку сделалось стыдно за предательство человека, щедро кормившего и одарившего его, ковырял в носу и посматривал искоса на Степана Петровича, который глядел мимо него, куда-то в стену: он представлял себя слонем, который плывет по большой шумной реке и вливается в океан, двигаясь навстречу красному заходящему солнцу.

Следователь утер лицо ладонью, шумно выдохнул и в тупом раздражении сел заводить уголовное дело.

\* \* \*

Ну вот, история наша завершается и... Что? Ах да! Ружье... Мы должны со всей ответственностью заявить, что не каждое ружье стреляет. А хотя бы только то, которое заряжено. А если не заряжено, то хоть дави автор на курок, хоть об стену бей — ничего. Но, помятуя народную мудрость о том, что раз в год и палка стреляет, спешим обрадовать читателя.

Итак, Степана Петровича в интересах правосудия обследовали психиатры и не нашли у него никаких отклонений. Уголовное дело было отправлено в суд. Судья, старый, мудрый и лысый, похожий на побитого жизнью ворона, счел дело ничем не доказанной галиматей. Может быть, выслушав рассказ Степана Петровича, он что-то понял про подсудимого. А может быть, с юридической точки зрения все это и впрямь была сплошная галиматья. Беседуя после заседания с возмущенным следователем, судья пошутил как будто: мол, подсудимого с такой фамилией жестоко отправить в места не столь отдаленные, негуманно, знаете ли, поместить человека с такой фамилией туда, где исчезают

остатки условностей. И мы склонны думать, что именно фамилия Степана Петровича и послужила той самой каплей, которая заставила судьбу человечно обойтись с Тетенькой.

\* \* \*

Жизнь Степана Петровича с тех пор сильно изменилась. Точнее, мы не сомневаемся, что она изменилась, но как, в какую сторону — это нам абсолютно неизвестно. Некоторое время он еще отправлял службу на складе готовой продукции, но дома уже перестал мастерить по утрам бутерброды и регулярно забывал вынести мусор. Однажды Полина Ромуальдовна, будучи не в силах выносить искривление мужниного сознания, позвонила знакомому психиатру. Он, посочувствовав горю, обещал приехать. А когда прибыл, Полина Ромуальдовна плакала в пекинеса, как в носовой платок. Больного в квартире не оказалось. По настоянию жены Степан Петрович утром отправился опустошить розовое мусорное ведро в зеленый уличный контейнер. Он что-то напевал, был бодр. Но взгляд его смотрел мимо жены, мимо двери, мимо розового ведра — мимо всего, что было ему до недавнего времени дорого. Да, мы забыли сказать: накануне супруга почему-то купила Степану Петровичу прекрасные новые тапочки и халат. Старые тапочки и халат были еще не изношены и вполне годились. Но, видимо, Полина Ромуальдовна хотела сделать мужу приятное. Утром он примерил халат, надел тапочки. В таком виде, с ведром в руке, отправился вниз по лестнице. Больше Полина Ромуальдовна не видела Степана Петровича. Он исчез, пропал, растворился.

Но она и по сю пору не оставляет попыток найти супруга. И вот, собственно, для чего затеяли мы весь

этот рассказ, да простят нас взыскательные читатели, требующие от автора объективности и полной незаинтересованности. Мы же заинтересованы, и еще как.

Поэтому обращаемся с личною просьбой и, как говорили в галантную старину, с нижайшим поклоном. Если вы встретите вдруг Степана Петровича — а узнать его, поверьте, нетрудно — и вдруг заметите в его глазах тоску по дому или он обмолвится невзначай, что, мол, неплохо бы навестить родные пенаты, передайте ему, что Полина Ромуальдовна все еще не оставляет надежды на его полное излечение. Он поймет.

## Летописец

Когда умер персональный пенсионер Семечкин, под его кроватью односельчане нашли древнюю истрепанную тетрадочку в сорок восемь листов. На синей обложке ничего не было написано, а под обложку никто не заглянул, не обнаружил любопытства. Тетрадочка потом долго валялась в сельсовете по ящикам столов, на подоконниках. Маша Длинная, пьяница, отменная дебоширка и просто бескультурный субъект, даже вырвала несколько серых исписанных страниц для утепления резиновых сапог, которые носила, не снимая, с весны и до самой зимы. Коля Без Пяти — без пяти два метра, — ее законный супруг и собутыльник, поймавший Машу за этим хозяйственным занятием, плюнул: вот дура, лучше сеном, бумага хлипче. Маша тоже плюнула в Колю, из принципа оторвала половину тетради, засунула в карман. И они, довольные, переругиваясь, пошли прочь из сельсовета. Делов у них тут никаких не было, так просто зашли.

Председатель сельсовета бывшего совхоза «Красный забойщик» Михал Иваныч через открытую дверь своего кабинета молча наблюдал эту критическую картину упадка нравов. Потом вышел, подобрал остатки тетрадочки и начал читать.

Бухгалтер, вернувшаяся с обеда, застала Михал Иваныча красным и взмокшим.

— Ты что это, Михал Иванович, выпил, что ль? — подозрительно понюхала воздух бухгалтер. По совместительству она была его женою и имела полное право интересоваться.

— Уйди, Тоня! — подняв мутные безумные глаза, простонал Михал Иванович так, что у Тони внутри все похолодело, потом погорячело, а потом она взвыла как сирена.

Михал Иванович никак не отреагировал, только запустил в Антонину старым журналом дойки, который валялся в куче других никчемных бумаг на растопку. Михал Иванович об эту кучу все время спотыкался.

\* \* \*

Председатель «Красного забойщика», человек непьющий и потому загадочный, еще долго после развала совхоза имел в голове неугасимый пожар, питаемый всяческими идеями. Идеи рождались у него легко. И совершенно неважно, имели они практическую ценность или были только флюидами воображения. В последнем случае, Михал Иванович топил их без сожаления, как котят. Всякое время в деревне давно кончилось, а он все проецировал в будущее.

— Сейчас-то, мужики, все налаживается. Надо поднять патриотический дух. Все-то у нас будет!

Мужики вздыхали, но красили крышу сельсовета в цвета российского флага.

— Давайте организуемся на паях и распашем Змеиную пустошь. И вот будет у нас и деньга живая, и кредит попросим у государства.

Мужики вздыхали, начинали пахать. Но ссорились, пахать прекращали и шли в магазин.

Михал Иванович устраивал фестиваль воздушных шариков, шахматный турнир, субботник в окрестном лесу. Он также хотел развивать сельский туризм. В Ми-

хайле Иваныче жило кропотливое, неуспокаиваемое и неуступчивое городское время, которое толкало его к деятельности и томило теперь на просторах непаханных весенних земель. В деревне уже давно много не пахали, часть земель заросла грибами и соснами.

\* \* \*

Михал Иваныч приехал с десятков лет назад из областного центра, где обретался с ранней юности — заканчивал в городе школу, живя у тетки, заканчивал институт. Вернулся в деревню, когда померла мать. Вернулся, потому что нигде не прижился. Все-то ему было неуютно — и люди не те, и запахи не те. Он горел на работе в управлении Облпотребсоюза, но был слишком надоедливым, хотя и нужным человеком. Он хотел достичь чего-нибудь, желал как будто бы сделать карьеру. Но повышения ему не давали.

В начале службы Михал Иваныч женился на молоденькой Антонине, дочке бухгалтера. Тонечка была хлопотлива и бережлива. Кормила Мишеньку пирогами. Но в Мишенькиной душе неуютность приобретала все более величественные смыслы. И однажды он не выдержал, собрал манатки, жену, сдал внаём студентам полученную от государства квартиру. И спустя двадцать долгих лет появился на родине. Родина зеленела так же, как в детстве...

\* \* \*

С момента возвращения прошло много времени. Михал Иваныч успел с тех пор стать главой сельсовета родного «Красного забойщика».

Забойщицкий быт, хоть совхоз принадлежал угледобыче при городе, не сильно отличался от быта ближайших

Черемушек или же Снежного — сортир на улице, вода в колодце. Поначалу Антонина взвыла. Но Михал Иваныч имел кое-какие накопления и дом матери успешно перестроил, прикатил туда стиральную машину, прилепил к дому теплый санузел, благоустроился, как мог, — и Антонина смирилась. Даже родила ему двоих детишек, которые при первом удобном случае после окончания школы слиняли в городское гнездо. И учились кое-как чему-то: один — в железнодорожном институте, другой — в медицинском. Антонина облегченно вздыхала, когда они уезжали — больно прожорливые получились мальчишки да беспокойные. Таким, как ихние Сашка и Валерка, самое место в городе, думала Антонина.

Михал Иваныча, как только уехали дети, стала грызть необоримая грусть, чем-то похожая на городскую тоскливую неуютность, но другая. Вскоре он перестал различать два эти чувства, старое и новое. Михал Иваныч, помятуя, что от неуютности он сумел сбежать, подумывал, не сбежать ли ему от новой напасти. Но бежать было в общем-то некуда. Да и возраст...

Идеи, которыми он доставал односельчан, спустя десяток лет немного присмирели в нем. Теперь он часто вспоминал мать, отца. От них почти ничего не осталось для памяти. Может, только старые отцовы сапоги, завернутые в целлофан, да материн рушничок с красными и синими узорами. А еще старая иконка, которую Михал Иваныч, неверующий, выставил в парадном правом углу вместе с родительской стародавней фотографией.

И наказывая будто бы за такую прохиндейскую беспамятность, память категорически выставляла острые углы от недавних тяжелых лет, тыкала носом и в нынешние нелегкие. Опять укрупняют деревни, уже и школу закрыли, детей перевели учиться в Черемушки. Скоро и от сельсовета избавятся. А значит, и от него, Михал Иваныча.



Но если раньше неудачи и перипетии Михал Иванович использовал, чтобы приободрить себя и зарядиться новыми идеями, направленными в будущее, то нынче все перевешивало томительное чувство тоски, чувство стародавнего времени, которое будто хранило секрет происходящего. Ему чудилось, что мама с отцом ему оттуда хотели дать совет, объяснить, почему все так на свете происходит. А он, глухой, услышать родителей не может. Михал Иванович думал, что хорошо бы уснуть, да так и пребывать во сне, неколебимо, спокойно.

«Ничего от меня больше не зависит. Ложись и помирай», — мусолил он мыслишку, частенько жалуясь жене на упадок духа.

— Хотя бы пацаны вернулись, что ли...

Но пацаны не возвращались. Антонина же молча пекла свои всегдашние пироги.

— С чем сегодня? С грибами?

Антонина кивала.

Михал Ивановича от пирогов уже просто тошнило.

Как-то в сентябре, сидя на березовом обрубке возле сельсовета, Михал Иванович разглядывал небо и дышал. Как бывший горожанин, он не мог наудивляться на свежий воздух. И вот сидел он так. А потом на него обрушилась откуда-то широкая и тяжелая пустота и зашептала: ничего не выйдет у тебя, Михал Иванович. И тут еще мужики прошли стороной — и не подошли пожать руку. И шли, по всей видимости, в магазин, хотя было одиннадцать часов утра, самое время для труда. Но времени вблизи от земли не существовало. И если, думал Михал Иванович, деревенские и сверяли часы, заводили будильники, так только для того, чтобы не опоздать на автобус в город. Часы, временные отрезки, были языком дипломатии, на котором деревня говорила с городом. А здесь всё, кончилось время. Надежды нет.

\* \* \*

Когда Машка Длинная толкала себе в сапоги тетрадные страницы, Михал Иванович наблюдая это дело, снова подумал о родителях. Потому что бумажки, сразу видать, были вырваны Машкой из каких-то документов бывшего совхоза, может, из журналов дойки. Журналы эти, а также прочие канцелярские записи прежних лет, сняли со школьного чердака. Изба, которую занимала школа, пошла под частный магазин. Частник вычистил ее, горшки и старинную кочергу увез в районный музей, а бумаги ссыпал в угол сельсовета. Михал Иванович именно об них и спотыкался каждое утро и каждый вечер. И все недосуг было ему убраться, в апатии своей и тоске он об этом забывал. Но в тот момент, когда наблюдал он за Машкой, в первый раз в голову ему пришло следующее: родители его горбатились в совхозе и, стало быть, о них упомянуто было в этих журналах.

— Вот до чего народ дошел: напихали в вонючую обувь считай что собственных родителей, их трудовые будни, — обращался он про себя к самому себе, наблюдая за Машкой и Колькой.

И разобрало его. И двинулся он было Машке-дуре сделать внушение, начал сочинять речь... Но тут Колька подхватил подругу под локоток, и они, ругая друг друга на чем свет стоит, удалились.

Михал Иванович вышел из кабинета, прошел до конца коридора, где торчала серая печка и лежала опозоренная тетрадь. И он открыл ее.

\* \* \*

Когда супруги Михал Иванович и Антонина столкнулись в коридоре сельсовета, обеденный перерыв только

что закончился и еще не все работники вернулись на свои рабочие места. Точнее, не было еще никого — ни паспортистки Оли, ни соцработника Любови Ильичны.

Михал Иванович в этот день на обед не пришел, и Антонина грешным делом подумала про всякие безобразия. Подумала на Олю, между прочим. Но ни Оли, ни кого другого она не застала, а красный вид мужа внушил ей следующее подозрение: виновата водка. Хотя Михал Иванович практически не употреблял, Антонина все же была женщиной, а для женщины, как известно, есть только два врага — разлучница и бутылка.

Но от Михал Ивановича не пахло. Однако же как он на нее зыркнул! А как закричал! Такой несправедливости Антонина Петровна снести не могла и зарыдала в голос, пользуясь отсутствием коллектива. Михал Иванович на рыдания внимания не обратил и выбежал из сельсовета. Антонина Петровна, ревмя ревя, следила за мужем через окно — как он бежал куда-то, как болтались полы его старого коричневого пиджачка...

Вернулся он скоро и расстроенный.

— Провалились чёрт-те куда!

Чмокнул заплаканную супругу, вышел, погрузился в казенный полумертвый «уазик». Антонина осталась стоять, открыв удивленно рот.

\* \* \*

Маша Длинная и ее супруг Коля Без Пяти проживали в районе бывшей мехколонны. Мехколонна сейчас вполне оправдывала свое название — белые ее развалины окружала длинная желтая прошлогодняя травяная шкура, напоминавшая, если смотреть издали, мех разной длины. Домик Маши и Коли был цвета этой шкуры, и если бы не поблескивающее стекло, его

можно было бы принять за природный объект или, в лучшем случае, за скворечник — учитывая единственное окно. Хозяева давно не поправляли забор. Огород был чуть вскопан. Дверь домика хлопала. Откуда-то изнутри раздавался то ли плач, то ли писк. Михал Иванович выгрузился из машины и решительно направился к скворечнику.

В скворечнике возились собаки. «Дверь, видать, не закрыта была, тоже мне хозяева», — подумал Михал Иванович. Собаки, увидев чужого, зарычали, но так как были некрупные, то успокоились с полпинка. И гость прошел в глубь единственной комнаты, совмещенной с кухней, грязной, заставленной посудой и пустой тарой. Он искал части тетради. Вдруг Машка пришла домой да переобулась.

В комнате резко пахло. В одном углу стояла детская кроватка. Детей у Маши и Коли давно забрали в детдом. В кроватке они складировали грязное тряпье, а сверху лежала лопата.

Михал Иванович осмотрел стол, бутылки под столом и вышел. Все было безжизненно. Коля Без Пяти и Маша, видать, сюда давно не приходили.

\* \* \*

Михал Иванович решил устроить засаду у скворечника в надежде, что супруги вернуться к вечеру. Но сперва ему следовало заехать домой и быстро поужинать.

Он глотал сало, борщ и пироги. И рассказывал Антонине:

— Тоня, Семечкин был старый, знал кое-что, много кое-чего! Это же тетрадь с ценными сведениями — полная тетрадь сведений! Тут на каждый день по строчке: чего было, кто приехал-уехал, кто помер, кто родился. Целая летопись. Да еще и с историческими фактами!

Вот, например, ты знала, что церковь стояла на холме, где Жорка Пяткин дом поставил? Прямо на том месте! Вот ведь! А знала ли ты, дорогая моя, что у Базаихи за домом источник бил, к нему из Черемушек да из Снежной приезжали, воду бочками возили? А почему? А целебная она была! Целебная, понимаешь ли ты, что это значит? Да мы же курорт в «Красном забойщике» сможем открыть! Я от мужиков слышал, кстати, что у нас тут когда-то еще и золотишко мыли... Вот Машкадура, вот ведь идиотка! Ценными сведениями себе сапоги набила!

Антонина кивала, но про себя думала: и слава богу, что набила, тебе же, балаболу, забот меньше.

И пошла в сени заводить тесто на следующие пироги. Михал Иванычу казалось иногда, что Антонина его Петровна — это не человек, а пирожковая машина, неутомимая в своей производительности.

Давно он чувствовал, что требовалась ему другая пища, не пироги разэтакие. Требовалось ему что-то такое, что заставило бы его отставить грусть. Он размышлял часто, выходя к речке и покуривая на бережку, что бы это такое могло быть? Может, ему лично поле распахать? Какое-нибудь, вон их сколько стоит, никчемных, неприспособленных, одна конопля теперь. Или, может, скота поразвести? Но ни поле, ни скот не удовлетворяли его гульливому воображению. И он вдруг отпускал себя на свободу и воображал, как встречается с инопланетянами на весеннем черном поле, окруженном черно-белым березовым кино. Или как он находит в логу за Тришкиным лесом, расплосованным ручьями, золото Колчака.

Антонина же Петровна возилась в сенях со своим тестом. И золото Колчака, как блажь, не интересовало ее ничуть.

С того самого момента как тетрадь Семечкина попала в его руки, в Михал Иваныче словно проснулась какая-то дремавшая жажда. За день она разгорелась.

Он выпил зараз три стакана чаю, но губы его были сухи, а во рту жажда превратилась в колючий колобок. Он, изложив Антонине свои соображения, решил больше не затягивать ужин. И отерев рот чистым полотенцем, отправился на поиски подходящей пищи, чтобы потушить аппетиты своей голодной души.

Он намеревался найти в тетради как сведения чисто практического характера, так и что-то еще, чему он не мог дать определения, да, впрочем, и не старался. В нем объявилась вдруг какая-то вера, которая не могла быть поставлена под сомнение, поскольку имела характер чрезвычайно неопределенный, а Михал Иваныч, несмотря на свои закидоны, был человеком практического склада.

Фактура времени в тетрадошке Семечкина была прописана безыскусно и достоверно. Но время не уместилось в тетрадке. Время поселилось, как инопланетный паразит, в голове Михал Иваныча. Он вдруг почувствовал, что покойный Семечкин был ему как брат. Этим ощущением он загорелся, так как, не отдавая себе отчета, собирался сложить в эту бездонную сумку все свои переживания, разочарования и чаяния. Он желал избавиться от своей грусти любым путем. Но еще не знал каким.

В поисках Маши Михал Иваныч обошел всех ее бутылльников. Машка и Колька наследили там, сям. Везде были, но успевали улизнуть. По деревне разгулялся слух, что Машку и Кольку ищет глава администрации. Этот слух оброс уже и другими — что-то про детей Машки и Кольки, что-то про поджог прошлогодней травы.

Кто-то сообщал, что Машка устроила дебош в сельсовете и украла документы. По Окраинной улице и вовсе пошел слух, что Машку нашла родственница из Америки. И когда Михал Иванович постучался в дом номер тридцать, Люська Ли, китайка по отцу, чьи необыкновенные глаза, похожие на длинные черные зерна, посаженные в желтоватую землю, давно привлекали нестарого еще Михал Ивановича, спросила:

— Родственница-то богатая? — и пригласила войти.

Пока Михал Иванович выяснял, что имела в виду Люська, наступил темный вечер. Почернели крыши, трава, вода. Все было заперто в черноте. Но Михал Ивановичу под шквалом обрушившихся на него впечатлений вся эта чернота казалась не концом, а только началом.

— Антонине привет... — сказала Люська на прощание, легко покачиваясь в дверном проеме. Кружевная комбинация на ней колыхалась, и вся она была похожа на узкоглазую бабочку.

— Ну ладно, — Михал Иванович вспомнил о надоевших хуже горькой редьки пирожках и невольно вздохнул.

Люська чмокнула его и пошла доить корову.

\* \* \*

Пора было домой. Михал Иванович посетил в довершение пьянствующих стариков Левушкиных, которые проводили свою морщинистую жизнь на завалинке возле дома. У них не было ни детей, ни коровы, беспокоиться им было не о ком. А заодно — проживающих рядом бывших детдомовцев Светку и Славку, к которым Машка иногда забегала стрелять деньги или сигареты, потому что они как-никак ее племянники.

Светка и Славка были смиренные, Славка еще и дурачок. Светка не сдала его в интернат, а поселила с собою

в высокой старинной избе, чтобы ей не было совсем одиноко.

Славка лежал на дороге и ковырял ножичком дырку в днище «уазика», когда Михал Ивановыч вышел из ограды. Он выяснил у Светки, что Машка была, да ушла — сироты дали ей сто рублей на продолжение банкета. Светка стояла на крыльце под лампочкой. Ее штаны сияли. Михал Ивановыч подивился на блестящие китайские стекляшки, которыми были усыпаны Светкины ноги, — на какой только «шанхайке» она их взяла! В руках девушки была старая Славкина куртка, которую она починяла весь вечер, да так и не починила, кажется. Михал Ивановыч подумал, что надо бы принести им забытую сыном Сашкой куртку. И вздохнул, вспомнив о сыновьях.

Потом он порывлся в бардачке, нашел россыпь леденцов в жестяной баночке и выманил прожорливого Славку из-под машины.

Все вокруг зевало. Когда начал зевать Славка, набивший рот леденцами, Михал Ивановыч почувствовал усталость и решил, что пора спать. А поиски он продолжит завтра.

Дом не светился. Антонина уже улеглась, закутавшись в теплое одеяло.

\* \* \*

Ночью Михал Ивановычу грезились всякие чудеса.

Утром супругов разбудил грохот апокалипсиса. Но это был механик Коляшка, колотивший в окно. Антонина поднялась, открыла форточку.

— Михал Ивановыч, поехали скорее! Люди к Базаихе пошли, громить ее хотят, — Коляшкин голосок был высок до писклявости и громок. За это его дразнили Свистулькой.



Свистульский перегар долетел даже и до Михал Иваныча, который сидел на кровати и пытался припомнить ночные чудеса. Но он махом сообразил, что к чему, мгновенно оделся. И они со Свистулькой завели «уазик» с дырявым дном.

Базаиха жила на другом конце деревни, который назывался Ключ. Раньше Михал Иваныч не понимал, почему Ключ, а после прочтения заветной тетрадки знал и был горд. И поделился с Коляшкой.

— Ты, Николай, знаешь, что Базаихин дом стоит почти что на источнике целебном?

Свистулька умоляюще смотрел на Михал Иваныча. Он не был готов к краеведческим экскурсам в силу похмелья и случившихся событий. Доехали молча, не проронив ни слова.

\* \* \*

У дома Базаихи кипела буча. Валяли друг друга в пыли и свежем навозе двое тощих: один — Базаихин сын, мелкий городской чиновник, приехавший к матери на выходные править забор, второй — Ванька Десантник, подросток, сын Машки Длинной и Коли Без Пяти. Ванька был высокий, как отец, и жилистый, как мать. Как сын алкоголиков, он воспитывался равнодушной рукой государства в приюте соседних Черёмушек и был, между прочим, не худший воспитанник, даже мечтал через два года пойти служить в десантные войска. Отсюда и заработал свою кличку, которой в насмешку наградила его безжалостная родная мать. Но Ваньке кличка нравилась.

Палисадник был обрушен. Сирень в нем напоминала старый веник в цвету. Одно из окон ощерилось острыми прозрачными зубами. Кругом стояли селяне, кто пьяный с ночи, кто трезвый — эти в основном женщи-

ны и пацаны. Никто почему-то не разнимал дерущихся. Зрители гудели тихим гулом, словно все хором, одновременно что-то читали.

Михал Иваныч не стал вмешиваться в потасовку, а сразу вторгся на Базаихин двор. Он примерно представлял, в чем дело.

Базаиха мела двор зеленой пластиковой метлой. Она была костиста и в темном платье и с метлой напоминала то ли Бабу-ягу, то ли смерть. Нет, скорее Бабу-ягу.

— Ну что, красавица, опять допрыгалась? Не стыдно? — председатель отодвинул Ягу от двери в пристрой, у которой она при виде ответственного лица заняла было оборону. Внутри пристроя пахло теплым бродилом. Почти на пороге лежал куль с сахаром. Базаиха гнала самогонку, обеспечивая ею и «Красный забойщик», и Черемушки, и Снежную. Говорят, даже городская окраина наезжала за ее забористым пойлом. Но Михал Иванычу слабо в это верилось. Чтобы кто-то потащился в такую даль за этакой-то отравой да к этакому-то страшилищу!

В крошечном пристрое места хватало только на кровать, которая была застелена блестящим покрывалом, и на стол, на котором стоял таз. В тазу плавали железяки. Это был мудреный аппарат, который соорудил в оные еще годы покойный Базаихин муж, механизатор, чемпион района по шашкам. Его портрет висел в школе среди портретов других ветеранов труда.

Но не хитрый плавающий аппарат привлек внимание Михал Иваныча, а ящик, который был задвинут под кровать, но не до конца. Под кроватью стояла водка. Базаиха перехватила взгляд и засуегилась.

— Иваныч, я тут ни при чем. Я сама ее пила. Нормальная водка. Как есть нормальная.

— Опять добавляла?! — Михал Иваныч повысил голос так, что он стал похож на Базаихин. Базаиха гре-

шила тем, что для желающих мешала водку с самогоном. И этот ее причудливый напиток выносил пьющим мозги напрочь. Уже неоднократно ее дом то пытались брать приступом, то громить. Однажды Лиза Глухая и крошечная Зойка по прозвищу Мушка подговорили женщин избить ее. Подкараулили, когда она ворота приоткрыла, вторглись, да и наподдали. У Зойки, если по чести, выбора не было. Уж очень она была мелкая против своего буйного пьяного мужика, Базаихино клиента. Михал Иваныч с Базаихой строго поговорил, обещал выселить. Зойку же перед участковым, как мог, обелил.

— Да я бы не стала. Машка малахольная, прибежала, надо, говорит, юбилей.

— Какой юбилей? — Михал Иваныч напрягся.

— Да не знаю. Юбилей, говорит, и все, надо, говорит... Ну я добрая баба, ты же меня знаешь...

— Ага, сама доброта. Машка где? — Михал Иваныч говорил почти фальцетом. Он все пытался припомнить, есть ли у кого в деревне на днях юбилей. Праздники он любил за возможность общения. А чтобы на юбилей его не пригласили — такого еще не бывало. И он обиделся. К тому же Машка была ему нужна срочнее некуда — в сапогах у нее прели заветные записи пенсионера Семечкина.

Базаиха замешкалась, потом рухнула костлявым задом на кровать, опустила лицо и ткнула пальцем в сторону дома.

Михал Иваныч сосредоточился. В нем муравьишкой бежали мысли. Бежали в одном направлении. Только он пока не мог понять в каком. Но зайдя в Базаихин дом, пересекши кухню, где спал в углу выводок котят, пересекши гостиную с большими бордовыми креслами и огромным телевизором, он уперся в тот самый муравейник, куда бежали все его мысли.

На панцирной доисторической кровати лежала Машка Длинная. Обутая, одетая, с обыкновенным своим кирпичного цвета лицом. Только она была мертва.

Остекленевшие Машины глаза отражали Михал Иваныча.

\* \* \*

Юбилей был у Ваньки Десантника — ему стукнуло шестнадцать.

Ваньку по этому случаю отпустили из приюта домой, благо ходу от деревни до деревни было тридцать минут. Он торопился — в «Забойщике» ждала его подружка Танюха, которая обещала на его шестнадцатилетие в подарок «всё». Ванька предвкушал и храбрился. Было ему от этого «всею» страшным-страшно.

Родители Машка и Колька обрадовались значительному поводу, который мог если не оправдать, то скрасить их пьянство и придать ему дня на три законный статус. Когда все деньги кончились, Машка настреляла по соседям и родственникам. Базаиха продала ей водку, ящик которой привез из города ее сын, и свеженькую самогонку. Машка довольная ускакала на своих кобыльих ногах.

Скончалась она внезапно, после второй рюмки самогонно-водочной смеси. Просто упала. От питья ли, от того ли, что просто жизнь ее подошла к концу, никому не известно.

Собутыльники принесли покойницу к воротам Базаихи.

Базаиха обнаружила ее почти сразу, когда пошла закрывать на ночь непослушный скрипучий ставень. Вместе с сыном втащила Машку в дом, взгромодила на кровать и начала хлестать по щекам, думая, что Машка в бессознанке. Машка приходилась Базаихе какой-то отдаленной племянницей.

Когда поняли, что хлещут труп, сын — городской чиновник Владимир — на всякий случай сделал трупу искусственное дыхание и ушел на двор курить. Больше в спальню не заходили до утра.

Утром к дому пришла вся компания. Смотреть, что Базаиха-отравительница сделала с мертвой Машкой.

Кто-то сообщил Ваньке, что его мать была злодейски отравлена старой каргой.

Колька же Без Пяти валялся пьяный в чужом огороде, возле сортира.

\* \* \*

Михал Иваныч смотрел на свое отражение в незакрытых Машкиных глазах и удивлялся.

Тайна времени предстала перед ним с открытыми мертвыми глазами и в кирзовых сапогах, набитых красноречивыми свидетельствами прошлого времени. Калейдоскоп завертелся в его голове: и мать, и отец, и рушничок с узорами, и волшебный ручей, которого уже нет, и пропасти, похоронившие царское золото. И вся история гибели родного совхоза, которая совершилась в девяностых на его глазах и против которой, назначенной Судьбой, он был бессилен. Михал Иваныч словно составлял в уме содержание какой-то книги. Машка умерла. Кто теперь откроет ему глаза на то, какая грусть его мучила, какое от нее есть лекарство?

Казалось ему, что со смертью Машки, дуры-бабы и пьяницы никчемной, в его жизни что-то пошатнулось. И часть ее отмерла, как осенью в палисаднике отмирают поздние бледные астры. И никак их не вернуть. Неужели никак?!

Михал Иваныч вспоминал астры и глядел на Машкины сапоги. В кухне тихонько рыдала Базаиха.

Михал Иваныч задернул занавеску с тигром, отделявшую спальню от прочей квартиры, и пришел в кухню. В кухонное окошко увидел он, что Ванька и Володька успокоились и теперь, сидя на земле по разным сторонам улицы, громко дают показания Сереге-участковому, которого кто-то уже вызвал.

Председатель взял со стола амбарную книгу — туда Базаиха записывала своих должников, — вырвал из нее испорченные Базаихой листы. На кухонном столе среди сковородок увидел карандаш. Сел напротив Базаихи, которая оторвалась от своего рёва и вопросительно уставила красные печальные глаза на человека.

Михал Иваныч уселся поудобнее и сделал свою первую запись.

Он все писал и писал. Вспоминал, выуживал из памяти мелочи. Базаиха все пялила на него багровые очи, а потом тихонько высморкалась в фартук и вышла.

...Какого же интересно цвета волосы у Машкиной дочки? Давно он ее не видел. Но, кажется, белобрысые, как и у Ваньки Десантника, как и у Кольки Без Пяти. Ага, тогда запишем: белокурая... А с какого года Машкина мать? С сорокового, что ли... Пусть с сорокового, потом по документам надо уточнить...

Михал Иваныч записывал все, что смог вспомнить о Машке, о ее непутевой жизни. О том, как она в четвертом классе сунула учительнице в сумку котенка, а через неделю чуть не утонула, вытаскивая из воды одноклассницу. В конце того года мать отправила его, Михал Иваныча, в город, где по разумению родителей он должен был обрести счастье. Но его счастье было, видать, где-то в другом месте.

Дописав, он увидел в окно, что Машу погрузили в древний грузовичок. Михал Иваныч с ровным, успокоенным сердцем наблюдал, как свидетельство существования времени уезжало от него в Машиных сапогах.

## Летописец

Они торчали из-под одеяла, которым укрыли труп. Солнце облизывало их так усердно, что сапоги, казалось, начнут плавиться и стекут черными лужами в выбоины разбитой деревенской улицы. А вместе с ними стечет расплавленная бумага и законопатит все бреши, которые есть на этой дороге. Ну и пусть, ну и хорошо...

Навстречу грузовику двигалась огромная сутулая фигура. Машкин бессменный супруг Колька Без Пяти, очнувшись, шел к Базаихе за опохмелкой.

# Снегурочка

## 1

Когда Надя Негодяева поняла, что достигла пика своих жизненных возможностей — а случилось это с нею довольно рано, в двадцать семь лет, — она решила предпринять что-то срочное и зафиксировать свое достижение навечно, развернуть пик в бесконечное плато. Случилось это на вечеринке, разноцветной и модной. Между двумя желтыми коктейлями ей принесли нежно-голубой. И, любуясь дивным цветом, Надя вдруг почувствовала, как у нее дергается нижнее веко.

Надино сердце резко дало в ребра, пульс участился, руки задрожали. Она не смогла донести до рта голубой бокал, воткнула его в лапку незнакомой кудрявой девице и кинулась в дамскую комнату. Там, боясь поднять лицо к зеркалу, Надя висела над умывальником, опустив в него выбеленные завитые кудерьки. А проходящие дамы завистливо оглядывали ее подтянутые тылы.

Надя была на грани обморока. Подмышки ее вспотели так, что пот проступил на синем вечернем атласе. Надю тошнило, подворачивались ноги. Не меняя позы, она скинула туфли на гигантском каблуке и холод кафеля стал ползти по ней гадом, поднимаясь от ступней выше и выше. Замерзли вспотевшие живот и подмышки, подбородок. Когда замерз нос, Надя наконец подня-



ла лицо и посмотрела на себя. Это, без сомнения была она, Надежда Негодяева. И в то же время не она. А неизвестная ей женщина, с ярко накрашенными губками и глазками, один из которых подло, прямо-таки предательски дергался. Вот в этот самый момент она поняла, что жизнь ее остановилась в прогрессивном развитии и нужно срочно, пока не поздно, закрепить результат. Надя посмотрела на себя еще раз — повнимательней, после чего громко упала в обморок.

\* \* \*

Фактическим результатом жизни Надежды Негодяевой к двадцати семи годам были работа продавца в крупном модном магазине и топ-менеджер скромной компании некий Гоша, рыхлый мужчина тридцати лет от роду, владелец большого ума. Надя замирала, когда за ужином Гоша вдохновенно повествовал: он еще с десятком топ-менеджеров весь день убеждал тупого директора, который только и думает о прибылях и продажах, что в офис срочно, не медля ни дня, нужно купить другую мебель — непременно желтого цвета, и очень важно заказать корпоративные носочки, а еще лучше носовые платки и галстуки, а можно — часы, а можно еще — чайные кружки. Надя считала Гошу самым продвинутым менеджером на свете. Она воображала его во главе огромного предприятия нефтяной промышленности, где он принимает важные решения, а ей на каждый Новый год дарит новую шубку.

— Как ты относишься к шиншилле? — нежно спрашивала Надя, проецируя в грядущее.

Георгий, пережевывая колбасу, ерзал на табуретке, мычал и кивал головой.

— Ах ты, мой маленький лапусик! — умилялась Надя, подразумевая в мычании согласие на свои будущие гла-

мурные безумства. Георгий наконец дожевывал, глядя в тарелку или в окно.

— А Раиске машинку подарили. Красную, между прочим, — Надя обиженно надувала губки и всхлипывала. Если Георгий мешкал с ответом, она говорила:

— А она, дура, водить не умеет. А я умею. А?..

Этого «А?» Георгий очень боялся. Он, как продвинутой молодой человек, посещал тренинги для настоящих мужчин, где учился хотеть абсолютной власти, самых больших денег, самой неувядаемой славы и самого несокрушимого здоровья и — как лучший приз — самых прекрасных девушек. Как настоящий мужчина, прошедший модные курсы завлечения элитных красавиц, он также знал, что при знакомстве девушке нужно сказать что-то вроде: «Вы не знаете, как лучше истратить мою зарплату?» Во всяком случае, Надежда Негодяева, на тот момент самая прекрасная и модная девушка из всех, бисерно рассмеялась — и он повел ее в ресторан, а на следующий день — в шикарный ночной клуб. Ну и так далее.

В тот день, когда Георгий впервые увидел Надю, она посетила салон красоты, сделала модный стайлинг и очень спешила на работу. Георгий стоял позади нее в лифте и мучительно всматривался в прическу. Ему казалось, что мышь свила там гнездо. В детстве он видел мышинные гнезда. Такое несоответствие — мышь и девушка — будило в нем самые невероятные чувства. Так что он даже опустил глаза ниже начеса, потом еще ниже. И наконец уперся глазами в приятную выпуклость и очаровался окончательно. Надя в этот день вправду сияла прелестью, ногти ее были готически остры, колготки привлекательно разноцветны.

— Вы не знаете, как потратить мою зарплату?

— Знаю! — девушка-мышка рассмеялась и зарплату Георгия потратила.

У Георгия тогда дух захватило. И до сих пор хватывало. Теперь, правда, все чаще, потому что Надя становилась все краше, а повышения по службе, которого Георгий ждал который месяц, все не случалось и не случалось.

— А?.. — повторяла Надя..

Тогда Георгий хватал колбасу, набивал ею рот и снова кивал и задумчиво мычал.

— А мы пойдем завтра на вечеринку, а, лапусик? — Надя, вдохновленная мычанием, вспархивала Георгию на коленки. Пластмассовая табуретка гнулась. Звенела посуда на столе. Георгий начинал тревожно дышать, все члены его трепетали. Но вовсе не потому, почему вы подумали. Он мысленно и трудно пересчитывал наличность в кошельке и подводил баланс кредитной карты...

Тут спасительно вопил звонок входной двери.

— Надя, это твоя маман пришла! — с облегчением кричал лапусик и бросался открывать.

\* \* \*

Мать Нади пересчитывала батоны «Крепыш» на хлебокомбинате и проживала в двухкомнатной хрущевке с треснутым окошком в районе кухни. Папа Нади, как он сам выражался, был изгнан из семьи за то, что «страдал излишним утренним сердцебиением». Иногда король в изгнании прибегал к Наде «просить пощады» — то есть сто рублей на опохмел. Надин папа работал в ТЮЗе монтировщиком сцены и проживал у приятеля в общежитии театральных работников.

Родителями Надя не гордилась, а презирала, как и всяческую необходимость — как, например, хозяйственное мыло в отсутствие стирального порошка или макаронную больничную запеканку в отсутствие фуа гра. Но если Надин папа дружелюбно принимал дочкино пре-

зрение, обращая его, во-первых, в гонорар, а во-вторых, в чистую монету нездорового самолюбования, то мама время от времени обижалась и в терапевтических целях устраивала дочке скандалы с промывкой мозгов историческим керосином.

— В наше время мы по гудку вставали... — начинала истерику мама.

...В дверь снова позвонили, теперь трижды — два раза длинно и один коротко. Надя кинулась в коридор, оставив маму позади, ревущую заводским гудком, о котором только что рассказывала.

В узенький коридор вторглась подруга Раиса.

— А на чем я приехала!.. — хвастливо повертела она ключиками.

А приехала Раиса на красненькой машине, которая так запала Наде в душу. И вообще в жизни так сложилось, что Наде время от времени хотелось умертвить лучшую подругу мучительной смертью. Хотя водородных бомб Раиса ни на кого не кидала, детей не ела, а Наде всегда помогала советом и бижутерией. Просто рядом с Раисой не оставалось место ни для кого. И для Нади тоже. Никто больше не влезал в комнату, где качивался циклопический Раисин бюст. Надин же бюст тянул максимум на две апельсинки. Раиса говорила:

— Ой, ты только не огорчайся, есть мужчины, которые предпочитают синиц в руке.

И если Надя не казнила ее страшной китайской казнью в ту же минуту, то только оттого, что Раиса имела необъяснимое, гипнотическое действие на ее маму. Мама замирала, как обезьяна перед удавом, начинала улыбаться неестественно широко. Мама считала Раису самой успешной небожительницей и во всем с ней соглашалась. А Раиса, подозревая о своем влиянии, нередко пользовалась этим в Надиных интересах —

расхваливала тете Лене дочку во всех красотах: и на фитнесе стройнее всех, и мужиками крутит, как хочет, и улыбнулся ей один, у него вила в Ницце... Так что тетя Лена, которая считала Надю дурочкой, не умеющей вовремя взять свое, на время проникалась к дочери подобием уважения.

У мамы была тяжелая жизнь и одна искусственная китайская дубленка на десяток сезонов. Мама ненавидела батон «Крепыш» и прочие продуктовые изделия своего комбината, она ненавидела неудачного Надиного папу, ненавидела треснутое окошко в кухне, ненавидела эту пресловутую искусственную дубленку, ненавидела шесть картофельных соток и многое другое. Наде с детства казалось, что мама заодно ненавидит и ее — ну не потому, что она забыла, что Надя — дочь, а потому, что мелкое Надино существование затерялось среди куда более крупных существований. Действительно, разве можно сравнить Надю и вечно ломающийся холодильник или Надю — и не окученное картофельное поле? Да мало ли еще что. Но конечно же, мама любила Надю как дочь — биологически и инстинктивно, в этом вы можете несколько не сомневаться. И даже больше. Например, известно, что мама возлагала на дочь большие надежды, мечтала, чтобы та устроила счастливую жизнь с олигархом, ну или хотя бы с банковским клерком. И чтобы зять подарил ей, теще, на Новый год натуральную шубу.

Но все же Надя в глазах мамы сильно проигрывала подруге, ей не хватало напористости, и она время от времени витала в облаках. А современная девушка должна действовать уверенно и стратегически правильно. Если, конечно, она не мечтает выпекать на хлебокомбинате высококалорийные батоны. И если все-таки не мечтает, то она должна быть в полной боевой готовности даже и когда спит. Если разбудить правильную девушку по-

среди ночи и спросить, какова ее боевая тактика на грядущие сутки, она ответит без запинки сладким-сладким голоском: маникюр, шейпинг, солярий, магазин, вечеринка, еще одна вечеринка.

Раиса, девушка необыкновенных достоинств, вечно загорелая, знойная девушка, легко шагающая по жизни на пятнадцатисантиметровых каблуках, внушала маме трепет и почтение. Она сумела захватить, или, как говорила мама, «оттяпать» у жизни лучшие кусочки и теперь готовилась к ослепительному будущему жены очень богатого мужчины. Преодолевая промежуточные звенья цепи — менеджеров, топ-менеджеров, директоров частных предприятий, постоянно повышая статус вечеринок и клубов, бывая на всевозможных закрытых собраниях, она прекрасным парусником шла навстречу своей главной цели — заветному олигарху или чрезвычайно крупному директору. Нет, все-таки олигарху. Раиса была человеком конкретных устремлений.

...Итак, Раисина шубка под леопарда распласталась в кресле. А сама она хвастала последними достижениями на фронтах красивой жизни и — не может быть! — приглашала на свадьбу. Мама внимала. Раиса щедро расписывала свадебные платье и меню. Надя же, глядя Раисе в рот, мучилась вопросом, кто же подарил этой дуре Райке красненькую машинку и кто жених. Гоша в это время смущенно смотрел в окно, потому что загорелые Раисины достоинства нехорошо действовали на него. Особенно если после них перевести взгляд сразу на Надю — например, на Надю в области бюста. Глядя в окошко, Георгий смущенно, но хищно прикидывал, потянет он когда-нибудь такую девушку, как Раиса. Будут ли у него когда-нибудь такие тепличные условия, куда он сможет поместить такой ценный и прихотливый предмет. Ну или хотя бы привести на час или два. Нет,

все же пусть лучше будет постоянно. Мужики на работе обзавидуются.

\* \* \*

На вечеринке, куда Надя так хотела попасть, она ожидала встретить судьбу. Под судьбою Надежда подразумевала Эдуарда Генриховича, главного начальника Георгия. Она не была с ним знакома и даже близко его никогда не видела. Но зато много слышала о его загородном доме и о курортах, на которых он бывал. Зарплата Георгия в последнее время тратилась как-то слишком быстро, а повышения все не было. Раиска с ее красной машиной и скорой свадьбой стала последней каплей, придавшей Наде железобетонную решимость.

Эдуард Генрихович был не то чтобы свободным человеком. Всякая красота сначала сбивала его с толку, а потом порабощала. Красоты вокруг было много. Зная о мужниных привычках, жена Эдуарда Генриховича давно построила себе новый — неформальный — шалаш. И муж был отпущен пастись на длинном поводке. Отказаться от поводка было никак нельзя, ведь Эдуард Генрихович успешно вел промышленные дела и владел средствами. Сам же он считал обязательства перед женой погашенными посредством постоянных денежных вливаний в ее бездонный, вышитый бисером кошелечек. И тоже организовывал себе временные райские шалашики, впадая в экстаз то от одного, то от другого проявления природной гармонии.

Впрочем, речь не об этом, а о том, что Надя в скором времени планировала переехать в квартиру, которую Эдуард Генрихович купит для своей новой жены. Но до замужества она намеревалась состричь все возможные купоны. У нее к серьгам не хватало симпатичного брас-

лета с бриллиантиками и изумрудиками, и еще сумочки из крокодильчика к новым туфлям, а еще она видела совершенно прелестный розовый ноутбук, а в автоматаине напротив сиял один, еще круче Раискиного, экземпляр красненькой машинки. Вот и сейчас ее мечта поблескивает дивными стеклышками... Ах!

Надя мирно мечтала, когда позвонил Гоша.

...Надеюсь ни у кого не возникло дурацкого вопроса, куда Надя денет Георгия, если переедет к Эдуарду Генриховичу? Каждой здравомыслящей девушке ясно, что Эдуард Генрихович круче Георгия. И при таком всеобъемлющем достоинстве невозможно не полюбить этого директора и человека.

\* \* \*

Надя попала на вечеринку, когда уже отшумели пламенные речи. Изможденные загорелые афродиты наливались шампанским. Корпоративные самураи клялись друг другу в верности. Надя пожалела, что оделась так скромно, — здесь были девушки на каблуках повыше, чем у нее. Георгий высматривал кого-то в бубнящей и пьющей толпе.

И не заметил, как к ним подкрался какой-то грушеобразный господинчик, рожа в пятнах, галстук набок, вытаращил на Надю глаза, приложил палец к губам — тс-с-с — и схватил Георгия за бока. Вот придурок, подумала Надя. И как только таких пускают в приличные места. Георгий подпрыгнул от неожиданности, но быстро взял себя в руки.

— Надя, позволь тебе представить. Эдуард Генрихович. — засуетился Георгий.

Надя чуть не заплакала из-за того, что надела такие высокие каблуки, — Эдуард Генрихович был низковат. И при таком росте он, естественно, не мог в полной мере



оценить красоту Надиного лица и декольте. Но этот Парис с животиком, на полметра выдающимся из дольчегаббаны, откинул голову назад, обволок Надю медовым взглядом и сказал:

— Очень пр-р-риятно, — и выдвинул что-то большое из-за своей спины: — А это Раиса, прошу любить и жаловать.

Вы, конечно, ждете невыразимого Надиного удивления и огорчения подобными вскрывшимися обстоятельствами. По-вашему, она должна заплакать, затопать ногами и умереть от разочарования? Нет. Гламурные девушки себя так не ведут. Они улыбаются еще милее, чем прежде, они спокойны и рассудительны, они сверкают ангельской добротой — но мстят с ненавистью Геры. Впрочем, Надя еще не достигла таких гламурных высот. Она еще не нажила всех необходимых качеств. Она не приноровилась еще вынашивать под невинным обликом херувима коварный замысел выковырять ложку глаза сопернице. Может, именно поэтому ее парнем был Гоша, а не Эдуард Генрихович.

Да, она удивилась. И огорчилась, конечно, тоже. Ведь ее опередили. Но тут все ясно. Перед ней действительно стояла Раиса. А мериться с Раисой бюстами было безнадежным делом. Поэтому Надя улыбнулась Эдуарду Генриховичу:

— Мы знакомы.

— Мы знакомы, цыпленок, — подтвердила Раиса кокетливо, чмокнула грушу в лысую маковку и цапнула у проходившего официанта два бокала. Один протянула Наде, и подружки отправились танцевать.

...Официанты просачивались между гостями. Гости, сверкающие и эпатажные, медленно, но верно напивались. Надя отведала уже штук пять разноцветных коктейлей. Но ей хотелось попробовать еще вон тот, нежно-голубой. Она поманила официанта, взяла бокал.

Нежно-голубое было приятно густым, сладеньким, ароматным... И вот тут у Нади задержалось веко.

## 2

В то же самое время на городской окраине, выделенной муниципалитетом в отдельный поселок, сидел над анатомической книжкой Иван Иванович Могучий, студент.

Окраина была некогда местом сакральным, монастырским. Потом здесь долго экспериментировали с посадками топинамбура, распахав землю, на которой лет за пятьдесят до того росли церкви и часовни, тек ручей живой воды и ягодами зрели в тени звонниц желтые колокола. Кости монахов, как эстетически чуждый элемент, на самосвале свезли на болотце.

Окраина засорилась за десятилетия разношерстным людом. Он заселил кельи, выстроил кругом пятиэтажные серые соты. Он хозяйничал жадно, неаккуратно, употреблял в пищу водку и развратничал в теплицах, ломая инструментарий и портя агротехнические эксперименты ученых.

А потом и это умерло — за врожденной нежизнеспособностью. Аграрий богатырского телосложения, отец студента Ивана Ивановича, Иван Могучий, последний пророк топинамбура, еще некоторое время сопротивлялся запустению и бурьяну, писал бумаги о потенциале овоща в правительство, гонял искателей церковных сокровищ, которые наизнанку выворачивали землю. Священный ужас охватывал агронома, когда видел тот кусты топинамбура, растающие корнями в небо.

Но с таким бескорыстным и бессмысленным упорством агроном сопротивлялся разорению, что с течением времени уважение к нему переродилось у люда

в сложное и противоречивое чувство, которое условно называется жалостью. Иван Могучий занял почетное место юродивого. Оно как раз освободилось за смертью пьяницы-инвалида, который утрами будил округу попугашиному.

— Трудное это дело — осуществлять продовольственную программу нации. Овощ многообещающий, изысканный. Это всю землю можно было бы накормить. Да что землю, выше бери. Э-эх! — махал агроном рукою в припадке чувств, рассказывая какому-нибудь захваченному врасплох чужаку историю корнеплода. Свои уже не слушали, а только смеялись или прогоняли.

С течением лет Иван Могучий под воздействием разочарования уменьшился вдвое и превратился в старого чудака вполне средних размеров. Проживал он в поселке вместе с сыном Иваном Ивановичем, студентом местного медицинского института. Ивану Ивановичу иногда казалось, что процесс уменьшения отца неостановим — особенно когда тот горошиной закатывался в какой-нибудь угол, где и засыпал нечаянно за научными размышлениями. Размышления эти он не оставил, за прошедшие годы возделал возле дома не одну клумбу топинамбура (овощ к тому же дивно цвел), лелея идею всеобщей сытости. И вот уже выросли у него клубни размером с семнадцатидюймовый монитор. И мечтал аграрий Могучий о новой государственной программе, которая позволит внедрить его достижения. И никто не мешал престарелому фантазеру предаваться агрономическим утехам. Только Иван Иванович, находя в углах монастырских зданий, в одном из которых они с отцом и квартировали, окаменелости прежней эпохи, генетический код топинамбура, овоща партии, нещадно выметал мумифицированное прошлое и про себя ругал отца на чем свет стоит. Потому что идея накормить до отвала человечество казалась ему ничтожной, мещанской,

унижающей разум и прогресс. Сам Иван Иванович увлекался идеей вечной жизни.

\* \* \*

Иван Иванович вырос в родителя — безобидным гигантом, обладателем лошадиной силы, устрашающей гривы, громкого голоса и одной всепоглощающей идеи. Из-за голоса отца Дионисий, настоятель вновь отстроенного на монастырской земле небольшого храма, неоднократно зазывал его петь в хоре, но неизменно получал отказ. Потому что, хотя Иван Иванович и отец Дионисий были добрыми друзьями, существовала между ними одна непримиримость — на почве бессмертия. Иван Иванович, который вежливо не терпел никаких, даже самых высоких, авторитетов, провозглашал вечную телесную жизнь, следуя своей идее. Дионисий мягко укорял его и склонял к вечной жизни души. Когда разговор набирал силу Дионисий закатывал рукава, а Иван Иваныч скалою зависал над столом, изрыгая богохульные речи. Суть спора заключалась в том, можно ли душу человека заставить быть в теле вечно, может ли эта безумная возможность рассматриваться как промысел Господень. Не однажды отец Дионисий хватал что-нибудь тяжелое, горя желанием запустить предмет в оппонента, — как человек солидной корпуленции, быстро перегревающийся, да еще и расшатавший нервы в кавказских боях. Но все же брал себя в руки и, когда все теологические аргументы бывали исчерпаны, делал последний словесный вразумляющий выпад. Морэ креатор вита эст, напоминал отец Дионисий Ивану Ивановичу:

— Что же получится, Иван Иваныч? Бессмертных будет все больше и больше, а люди будут порождать себе подобных. Земля перенаселится. Придут голод и смерть.

— А я стратегически не стану размножаться! К чему такая огромная затрата ресурсов? — парировал Иван Иваныч.

— Если человек станет бессмертным, он потеряет смысл существования.

— Это вы, отец Дионисий, по роду деятельности потеряете смысл. А я его только приобрету — буду вечно работать на торжество прогресса.

— Вы, Иван Иваныч, хотите переступить через человека, чтобы наплодить роботов. Душу перестали чувствовать.

— Человек должен самоуничтожиться, чтобы превратиться в высшее существо. Наука стремительно идет вперед, а в мире ничего не изменилось! Вы ничего не видите, кроме своей веры! — студент бил кулаком по столу.

«Да, ничего не изменилось», — удрученно думал про себя отец Дионисий и крестил воздух.

Ночью отцу Дионисию снился Агасфер.

\* \* \*

Может быть, отец Дионисий говорил от души, но Иван Иванович, совершенно очевидно, ею кривил — в его жизни изменения произошли буквально на днях: буквально на днях он взялся за осуществление своей мечты о бессмертии. Вышло это случайным образом, непостижимым сращением фактов жизни.

Как студент-медик, наш герой давно проникся презрением к мелкопоместной медицине, которая унижает прогресс, излечивая частные расстройства человеческого организма. Как-то раз, когда августовские кузнечики томно стрекотали и вечер ложился необыкновенно черный, отец поскользнулся на лестнице и вывихнул руку.

Ступени в бывшем доме для монастырской братии, где и проживали Могучие, были высоки и с течением времени стали неровны и выщерблены. С чувством глубокого отвращения к себе как к представителю медицины Иван Иванович оказал первую помощь и отвез отца в травмпункт. А потом половину ночи в раздумьях сложился по квартире. Медицина в принципе не может решить проблему бессмертия, это тупиковое направление науки. Только стариков больше становится. Где радость жизни? Где прогрессивное творчество? Одни пауки в углах и вставные челюсти в стаканах. В первую очередь нужно исправить мозг. В конечном итоге все зависит от мозгов.

И в это время какая-то зазубринка в нем заныла. «А я? Я тут, я тут..» — что-то стучалось в маленькую дверку где-то внутри богатырского организма. Студент тёр могучую грудь, не понимая, что беспокоит его. Слово маленькое чесоточное насекомое прогрызает свои мерзкие ходы, словно ручей, родившийся от прошедшего ливня, пробивает дорогу в неполюженном месте. Мысли начинали путаться, а зазубринка звенела все настойчивей. Иван Иванович начал терять нить рассуждения. В нос его вливались предосенние запахи — отживающей листвы, созревшей и уронившей семена травы, близкой грозы. В глаза вливалась чернота ночи. И что-то дышало в нем помимо его носа и его легких. Дышало в ладонях, в ступнях, в коленях, даже в спине и пониже ее. Дышало, не спрашиваясь человека. Он попробовал задержать дыхание — но это другое не переставало быть, а, надсмехаясь, дышало еще глубже, роняя Ивана Ивановича в неведомые бездны. Вбирать носом воздух вовсе не обязательно — смеялось оно, пока Иван Иванович шел ко дну, рационально прощаясь с жизнью, но все никак не умирая. Наконец, последнюю силой рассудка взбунтовавшись против такой нелепой анатомии, Мо-

гучий стряхнул наваждение и пошел спать. И снилось ему, что семена травы попали внутрь его грудной клетки через нос и там проросли, питаясь полезной кровью альвеол. И потом он превратился в заросший холм, и к нему приходили люди.

А утром он обнаружил, что нижний, цокольный этаж дома, долгое время стоявший без жильцов, заселется. Вывеска знакомила: Фонд продления жизни. Усатые люди в комбинезонах спускали в полутемные кельи металлические баки, в которых студент признал сосуды Дьюара. Люди распутывали и вытягивали разноцветные провода. Иван Иванович покрутился возле грузовика, потом скромно спустился по заросшей отдельными серыми травинками каменной лестнице. Кельи стояли такими же, как и сто, и двести лет назад. Только в середине каждой торчал блестящий сосуд.

— Что вам здесь надо? — донеслось откуда-то снизу. Иван Иванович обернулся и наткнулся на маленького, остренького человечка. Человечек оглядел его внимательно, пожевал губу и протянул руку лопаткой:

— Вадик... Работа не нужна?

Так Иван стал замораживать человеческие мозги, а иногда и другие части тела.

\* \* \*

По вечерам младший Могучий спускался со второго этажа в цоколь. Облик студента являл собою торжество разума над всякими гнилыми предрассудками. Он обходил кельи, трогал провода. Везде вокруг, символизируя стремление человечества к вечности, плавали в высоких сосудах прохладные мозги. В сосудах поменьше обитали, ожидая расцвета нанотехнологий, руки и ноги, а также и чей-то пенис. Одна рука, дремлющая в

небольшом прозрачном сосуде, сохранила даже отпечаток социальной жизни.

— Это пусть останется. Как память. Это братаны скидывались ему на юбилей. Потом его оживят, он посмотрит на руку и нас вспомнит, — объясняли, скорбя, какие-то сентиментальные орки, тыча пальцами в огромный перстень на замороженном пальце. Вадик, хищно поглядывая на образчик братской любви, решил, что платина и крупный бриллиант не могут повредить в деле будущего воскрешения, и разрешил оставить. Орки, бережно передав сосуд Ивану Ивановичу, разъехались.

Могучему, правда, категорически не нравилось, что в ФПЖ замораживают только куски людей. Сам он считал, что замораживать индивидуума лучше целехоньками.

— А живых замораживать — еще надежнее для вечной жизни, — говорил он отцу, когда тот окучивал топинамбур. Аграрий одобрительно мычал. И в его замысловатой голове возникал вечно живой замороженный топинамбур.

Вадик, директор по замораживанию, предложения Ивана Ивановича выслушивал скептически и объяснял коротко:

— Это потом, когда спрос будет.

Но все-таки завез пару огромных колб, чтобы в случае чего поместить туда человеческое существо в полном объеме.

Лаборатория, где нес научную вахту Иван Иванович, была устроена не сложно, но смекалисто. Вполне хватало одного служащего, чтобы за ней присматривать.

— Мозги, они ж есть-пить не просят, — смеялся Вадик и платил хорошую зарплату. Сам появлялся здесь редко, неся службу в офисе в центре города. Оттуда время от времени привозили на хранение новых будущих вечно живых.



## 3

Тем временем в больнице Надя Негодяева задумчиво поела — что бы вы думали! — сладкие хлебобулочные изделия, приносимые мамой, и ждала выписки, мечтая приступить к выполнению своего решительного плана. Решительный план Нади с момента ее обморока кардинально поменялся. Теперь в нем не было места никаким Эдуардам или другим директорам. Даже для Гоши, пожалуй, там не осталось места. План Нади был не похож ни на что. И она ждала выписки.

В больнице было скучно, потому что в нервном отделении нормальных пациентов мало. В основном — дерганые женщины средних лет. Они зыркали на Надю, с трудом приподнимая тяжелые набрякшие веки, или рыдали у окошка, или шипели вслед какие-нибудь гнусные замечания. Обаять в больнице тоже никого не удалось. Потому что единственный мужчина — главврач — был насмешливым старикашкой с желтыми запорожскими усищами. Когда мимо него кто-нибудь проходил быстрой походкой, усы покачивались. И наблюдение за усами главврача было, пожалуй, единственным активным развлечением пациентки Негодяевой.

В конце концов Надя перестала выходить из палаты и проводила время в созерцании законных красот и чудес, как то: фонтан, который уже много лет не фонтанировал, зато зарос живописной крапивой; тополь, который к середине августа окончательно облысел; доктора, которые бегают через двор из отделения в отделение, как тараканы; больные, которым незачем бегать и они сидят на лавке и даже не шевелятся, похожие на тлей. Небо иногда было таким голубым и плотным, что казалось Наде сделанным из жевательной резинки. А дождь пах так, что Наде хотелось им надушиться вместо самого дорогого парфюма. Надя

забывала накрасить ресницы и даже надеть кокетливые шлепки на каблуке, когда выходила из палаты, — так и шла в тапочках на уколы. Надино расслабленное состояние — наверное, действовали таблетки, которые ей каждое утро выдавали на сестринском посту, белая, две розовых и одна кремовая, — удовлетворяло главврача.

— Недельки через две я вас выпишу. Но вы уж больше так не нервничайте. Нашли от чего в обморок падать. А то ну что же такое: у меня вон оба глаза дергаются, и ничего.

А Надя, пребывая в таблеточной нирване, только благостно улыбалась и про себя тихо сочувствовала доктору: ну надо же! оба глаза! Какой старьёй!

Однажды утром, когда Надя жевала утреннюю булочку и обдумывала детали плана, в палату влетело волшебное ароматное облако. Надя потянула носом — и снова равномерно задвигала челюстями. Облако сгустилось, и богиней гламура материализовалась Раиса. Она кинула плащик на кровать, элегантно освободила нос от солнечных очков и сфокусировала глаза на объекте своего интереса. Палата ярко освещалась августовским солнцем, Надя сидела в солнечном ореоле, отчего казалась совершенно черной, время от времени поднося руки к лицу. Надя напоминала странное и противное насекомое. Раиса забыла, как оно называется.

Гостья подошла к окну, задернула шторы, опустилась на кровать рядом с Надей — и завизжала, а потом отпрыгнула, забодав коленками стену.

— Это булка, Надюсик!

Булка с повидлом повернула морду в сторону Раисы, оскалилась, зарычала. Она готова была броситься на беззащитную девушку. Раиса уже представила, как инопланетным существом булка внедряется в ее прекрасный организм, как по пищеводу пробирается в

желудок. Как купается там, истончаясь, в желудочном соке, хищная, страшная, разрушительная булка...

— Хочешь? — Надя достала из тумбочки пакет. И протянула подруге.

Раиса в ужасе смотрела на ее руку с пакетом, словно рука держала не пакет, а отрезанную человеческую голову или, еще хуже, дохлую жирную вонючую крысу.

— Боже, Надюсик! — Раиса вдруг побледнела и зашаталась. От этого груди ее закачались, набирая скорость качания, сначала синхронно, потом вразнобой. И казалось, что сейчас Раисин бюст раскатится, как два мяча. Они выпрыгнут из-под тряпочки леопардового топики. И Надя видела уже в воображении, как по зеленому короткошерстному полю бегут к мячам привлекательные футболисты. И как смущены они тем, что мячей — два. Судья свистит, фанаты кричат что-то общее и неразборчивое. Футболисты не знают, по какому мячу им пнуть. На трибунах смятение, нарастает тревожный гул...

— Боже, Боже, Надюсик! — повторила Раиса (груди выплясывали уже что-то совершенно невозможное). — Как можно до такого себя довести! На кого ты похожа! У тебя же, у тебя... заусеницы!

Надя посмотрела на ногти удивленно и равнодушно — как еще ни разу в жизни на них не смотрела. Если бы ногти могли, они бы обиделись, отвалились и ушли куда глаза глядят.

Надя пошарила в тумбочке, вытащила маникюрные щипчики и по очереди откусила все длинные коготки.

\* \* \*

В общем, думаю, вы поняли, что Надю нужно было оставлять в больнице не на две недели, а по меньшей мере на два года. Но главврач, не поняв всей серьезности ее анамнеза, выписал, как и обещал, через две неде-

ли. Георгий приехал за Надей на новенькой машинке — он наконец-то получил значительное повышение. Надя погладила капот и равнодушно поместилась в салоне.

— Я — младший партнер! — в Гошином голосе появились металлические нотки.

— Лет через двести машины будут управляться веле-нием мысли, — сказала Надя невпопад и удивленно замолчала. Потому что в кармане, на спинке водительского кресла, куда она, любопытствуя его глубиной и содержимым, засунула руку, нашелся незнакомый ей (или, наоборот, знакомый?) леопардовый топик. Надя засунула его обратно, поглубже, и стала смотреть в окно.

...Через два дня в обеденный перерыв она вызвала такси и приехала на городскую окраину, выделенную муниципалитетом в отдельный поселок. Маленькая церковь посреди неровного, в останках каких-то хозяйств поля выглядела одинокой мокрой птичкой. Дождь не переставал с утра. Надины туфли на высоком каблуке запачкались, каблуки то подворачивались на морщинистом, состарившемся асфальте, то проваливались в грязь. Хорошо, что Надя быстро нашла нужный ей дом. Дверь в цоколь оказалась не заперта. С трудом переставляя тяжелые от налипшей грязи туфли, она двигалась в глухом желтом свете коридора вдоль тяжелых стальных дверей. Она шла на слабый звук, на шуршание, которое редко и коротко звучало в каменно-стальном безлюдном мешке. Наконец Надя достигла открытой двери. Поробела с минуту, а потом вступила в дверной проем.

В это же самое время, в этом же самом месте Иван Иванович Могучий, листая научный фолиант, соображал, как бы перезапустить человеческий мозг в нужном для бессмертия режиме.

Иван Иванович уже почти отвык от посторонних людей и особенно от женщин. И появление прекрасной незнакомки — а Надя была прекрасна в голубеньком легком платье, со взлохмаченными, выжженными краскою добела волосиками, — повергло его организм в смятение. Сначала он вспотел, побледнел, подумав внезапно, что, наверное, это чей-то призрак пришел за своим мозгом или ногой. Хотя призраков он рассудком не признавал, но все же. Призрак смущенно и молчаливо топтался, стыдливо скреб подошвою левой туфли о каблук правой, счищая грязь. Наконец привидение разлепило пухлые губки:

— Я хотела бы узнать, можно ли тут у вас заморозиться.

Иван Иванович тогда понял, что призрак вполне себе жив. И обрадовался почему-то.

— Это вам криохранилище, а не проходной двор, — ответил он с напускной суровостью, исподтишка поглядывая на покачивающуюся фигурку. Она казалась ему былинкою, серой травкою, которая выросла на ступеньках, ведущих в цоколь. Она казалась ему еще новорожденным облаком, которое ошиблось и прилетело в серые кельи и стоит теперь перед ним, наивное, прелестное и чего-то хочет, а чего — непонятно. Облачко задрожало, заговорило робко:

— Я бы заморозиться хотело.

Иван Иванович смотрел на облачко с внутренней нежностью, какой доселе не испытывал. «Снегурочка», — думал он.

Здесь надо отвлечься на минутку и парюю штрихов, чтобы не нарушать скромности повествования, обозначить эротическую жизнь Ивана Ивановича. Как человека молодого, его время от времени терзали смутные желания. Но он был скромнен. Да и о чем гово-

речь с девушками, он не представлял. Ведь не станешь в известных обстоятельствах обсуждать особенности патологического сращения суставных поверхностей, или же, к примеру, рефрактерность клеток правого предсердия, или же... Короче, внутренняя жизнь Ивана Ивановича была такова, что не со всяким можно было ее обсудить.

В школе Иван Иванович пережил свой первый и, пожалуй, единственный значительный эротический опыт, так как был тогда влюблен. Старшеклассница, имени которой он уже и не помнил — а может и вовсе не знал, — вывихнула на волейболе коленку. Ваня, огромных размеров восьмиклассник, нес ее со стадиона в школьную раздевалку на руках. Эти пятьсот метров стали главным переживанием его юности. Лица внезапной любви память его не зафиксировала. Но руки его, росшие, меняющиеся, налившиеся силой к нынешним двадцати четырем годам, навсегда сохранили ощущение тяжести и мягкости, гладкости и потной влажности. Он тогда мешком свалил старшеклассницу на клеенку кушетки в медкабинете — и кинулся в туалет. А старшеклассница потом закончила школу. А Иван Иванович закончил только через год. А потом его забрали в милицию за то, что он подрался. А потом мама уехала работать за границу. А потом он ездил на море. А потом сходил в армию. Потом он работал санитаром в морге. Кажется, ее звали Люся. А может, Зоя. Но точно не Наташа. Хотя скорее даже Лера. Да, что-то в этом духе.

— А можно я сяду?

Облачко опустилось на стул. Загорелые коленки обнажились — и впились Ивану Ивановичу осиновым колом в самое сердце.

## 4

Через неделю Иван Иванович очнулся. Что было с ним в эти дни, он мало помнил. Мир вдруг предстал перед ним чужим и странным. Любимый полуподвал, где он самоотверженно и радостно проводил дни, разговаривая с законсервированным будущим человечества, казался сырым и неприветливым. Но и солнце, которое горело над головою последним теплым светом, висело недружелюбно, отстраненно, лаская всех — отца в зарослях топинамбура, бабок на лавке, сопляков в песочнице и даже алкашей, задремавших на паперти, — но только не его. Иван Иванович удивленно смотрел на маковку церкви, которая пускала солнечные зайчики ему прямо в глаза. На церковное крыльцо вышел отец Дионисий, а за ним матушка и два кучерявых отпрыска женского полу. Все они зажмурились, ослепленные солнцем. Дети рассмеялись и поскакали мимо топинамбура, мимо алкашей, мимо Ивана Ивановича, по своим радостным делам. Иван Иванович поздоровался с молоденькой тонкой матушкой, которая плыла вслед за отпрысками, выкрикивая, как утка, их имена. И уткнулся в отца Дионисия.

Отец Дионисий был человек внимательный. Но даже и невнимательному человеку лицо Ивана Ивановича, похожее на щетку, лицо измученное, может, бессонницей, а может, мучительными раздумьями, внушило бы тревожный интерес. Студент тронул приятеля за рукав рясы и уставился детскими синими глазами как бы мимо. Но отец Дионисий чувствовал, что приятель смотрит на него каким-то циклопическим внутренним глазом. И глаз этот крутится, вбуравливаясь в него и требуя от него ответа на неизвестный, но всеобъемлющий вопрос.

Матушка уже ушла к самой дороге, где на обочине пригнута синяя машина. Дети бегали вокруг матушки и машины, бежали к отцу, махали ему издали, разворачивались, бежали обратно. Девчоночья шумная возня привлекла местных собачонок. Собачонки радостно скакали, хватая человечков за подолы и рукава. Матушка подняла прутик и стала отгонять собак. Девочки отобрали прутик у матери и стали бросать его собакам. К машине подползли две старушонки, затеяли с матушкой беседу. Матушка смеялась. Подошла мама с дочкой, которая присоединилась к девчонкам. Потом откуда-то взялись мелкие мальчишки — наверное, из тех, которых отец Дионисий обучал вождению и столярному делу. Потом подходил еще и еще народ. И скоро образовалось целое живое море из человеков, животных и даже курицы, которая присоединилась к ярмарке, откуда-то сбежав. Дети окружили курицу. Матушка посматривала на отца Дионисия. Его, верно, все ждали.

Но отец Дионисий, выразительно махнув жене — мол, не ждите, взял Ивана Ивановича за локоть и осторожно повел в церковную сторожку. Иван Иванович вздумал с чего-то сопротивляться, хотел улизнуть, сослался даже на головную боль. Но Дионисий его не отпустил. Твердой рукою десантника сжимая руку приятеля, потащил его к домику и втокнул внутрь.

Матушка помахала мужу, попрощалась с паствой, посадила девчонок в машину, и семейство уехало.

— А как же, если случится настоящая любовь? — отец Дионисий уже освободился от рясы, остался в обычной мирской одежде и теперь аккуратно прибирал облачение в шкаф. После сто пятьдесят третьей серии их привычного разговора он собирался ехать на дачку вслед за женой, успеть до затяжных дождей собрать оставшийся урожай.



— С биологической точки зрения, любовь — это безумие, — хмуро, но неуверенно отвечал Иван Иванович. Сегодня он не был настроен обсуждать идею вечной жизни.

— Ну а вдруг люди будущего не захотят избавляться от этого... э-э-э... безумия? — отец Дионисий даже захохотал, представляя любовь безумием. Вот те на, безумие, значит. Он вспомнил матушку, когда та не была еще матушкой: тоненькая девушка стояла на перроне и махала кому-то. А потом повернула лицо к нему, и в ее глазах он увидел и все будущее, и все прошлое, и сам Бог улыбался ему оттуда.

Иван Иванович привстал, опираясь на стол, и, по-прежнему глядя мимо отца Дионисия, горячо сказал:

— Люди будущего перестанут быть людьми и станут постлюдьми. Они станут совершенными, более чем совершенным. Неизвестно, что будет делать разум, который на несколько порядков выше нынешнего. Думаю, разум победит это болезненное страшное чувство.

Отец Дионисий пошел в кухню и принес печенья и чаю. Он передумал ехать на дачу и позвонил матушке, сказал, чтобы ждали его завтра утром. Состояние товарища тревожило его.

— Вот именно, Иван Иванович, неизвестно.

Они замолчали. Вечер затекал в комнату морской водою. И в комнате гуляли осенние ветры, пробравшиеся из открытых окон, — отец Дионисий любил свежий воздух.

— Ну а если не удастся выполнить свои обязательства по оживлению замороженных, что тогда?

Иван Васильевич помолчал. Он неприятно долго молчал, отец Дионисий даже поежился от столь грубого и затяжного молчания. А потом вдруг встал и пошел к окну. Могучая фигура студента закрывала весь проем. Стало темно. Отцу Дионисию казалось, что вот —

Святогор, выше леса стоячего, при ходьбе его мать сыра земля потрясается, колышутся леса, реки из берегов льются. И было бы одно кольцо в небе, а другое в земле, перевернул бы он небо и землю. Но вратет в почву — и останется одна говорящая дурная голова.

А Иван Иванович стоял белый как бумага, похолодевший внутри то ли от вечернего сухого холода, то ли от окончания внутренних сил, ответил тихо и очень четко:

— Тогда родственникам вернут деньги.

...Провожая Ивана Ивановича до церковных ворот, отец Дионисий, ничуть не успокоенный вечерней беседой, думал о приятеле. И видел для него выход житейский и конкретный.

Закралась отцу Дионисию мысль, что Иван Иванович вдруг сделался влюблен и любовь его мучит. Налицо все признаки. Неделю видно не было — наипервейший факт! От этой мысли у отца Дионисия на сердце потеплело, и он с надеждой взглянул на будущее приятеля. Надо его сподвигнуть на женитьбу. А там и дети, и полное семейное довольство. А то — «безумие», «стратегически не стану размножаться». Священник хихикнул тихонечко, в бороду. Только в голове, как таракан, вертелось, мешая счастливому будущему, былинное пророчество: кому суждено в гробу лежать, тот в него и ляжет.

А Иван Иванович шел к своим кельям и ужасно досадовал, что потерял столько драгоценного времени на ерунду. А ведь за это время ему в голову могла прийти гениальная идея по перезапуску мозга! Он не мог медлить ни минуты. Жизнь сделалась вдруг слишком коротка.

\* \* \*

Отец Дионисий так никогда и не узнал, что случилось с Иваном Ивановичем в тот день. Его надежды же-

нить друга не сбылись. Иван Иванович окончательно замкнулся в себе, заточился в цокольном этаже монастырского дома. Полуподвальные окна горели даже и по ночам. А потом отец Дионисий уехал из города, приняв где-то, по велению епархиального начальства, новый храм...

И вы, уважаемый читатель, ничего бы не узнали, если бы не наше к вам особенное расположение. Хотя скрывать в любом случае уже не имеет смысла. Скоро все телеканалы, а также газеты и прочие средства передачи сплетен заговорят, зашумят, заскандалят об этом. И приврут немало, это уж точно. Так что лучше мы расскажем вам все сами — всю правду, доподлинно, как оно есть. Мы не станем уподоблять наш рассказ милицейскому протоколу и не станем копировать стиль программы новостей — и там и там слишком уж любят голые факты. А голый факт — вещь целеустремленная, но обездушенная. Голый факт треснет вам табуреткой по башке — но никогда не скажет за что.

Не станем мы также следовать принципам какой-нибудь паршивой желтой газетенки, цель которой — выжать из вас, уважаемый читатель, побольше слез, вздохов, ахов и охов. Озлобленное или жалостливое состояние, в которое даже и самые почтенные люди ввергаемы посредством чтения оных злокачественных сочинений, вызывает омерзение.

Никак невозможно отдать историю Ивана Ивановича на поругание всем этим бульварным писакам! Перья их чрезвычайно тупы.

Впрочем, даже и мы не возьмемся передать того, что происходило тогда в доме для братии, а уж тем более того, что происходило в душе Ивана Ивановича. Ближе к концу недели он был близок к помешательству.

...Смута боролась в тот день Ивана Ивановича всухую, укладывала на обе лопатки. Он шатался из отцовской комнаты (отец отбыл в гости) в свою, хватал медицинские пособия, взял тетрадь, чтобы начать наконец научные записи и наблюдения. Но потом отложил. Заглянул в холодильник. Но в холодильнике было много несъедобной сырой пищи, а съедобной не было совсем, помимо треснутого яйца. Впрочем, есть он не хотел. Спать не хотел тоже. За окном ревели кошки, провозглашая вечную любовь. В сердце студента рождался терзающий сердце образ: белые волосики, загорелые коленки, прозрачные сияющие глаза и голос звучит, как арфа:

— И вы здесь работаете?

— Ну да.

— А хорошая зарплата?

— Ну да.

— А вам нравится ваша работа?

— Ну да.

А смех ее серебрился, как снег в солнечный день. Она смеялась над его дурацким «ну да».

— Вас и зовут наверное «ну да», — Надя смеялась еще серебряней.

— Ну нет.

И тогда они захохотали оба. И пошли наверх к Ивану Ивановичу пить чай. Это было, когда Надя вплыла к нему в полуподвал волшебным облаком.

А теперь какая-то смута грызла его. Он достал треснутое яйцо и разбил его себе в рот. Но глотание яйца ничего не изменило. Он думал — а вдруг больше не сможет услышать ее голос?!

Он вспоминал, как потом она приезжала еще — в красном платьице, волосы прибраны в хвостик, каблучки пониже и потоньше. И привезла с собой горячих еще булок с маком и повидлом и без умолку стрекотала.

— А в чем заключается ваша работа? — засеменила за ним по кельям, оступаясь на каждом шагу и падая ему в руки, как спелое красное яблоко. И все в нем изумлялось — как это девушки на свете могут быть такими красивыми. Вот бы сохранить такую красоту навечно.

— А чьи это мозги здесь? Вы знаете? Ой, наверное, так интересно это знать! — и вдруг с испугом отступала к двери: — А они сейчас ничего не соображают? Ведь нет? Они не знают, что я здесь? Они меня не видят?

Иван Васильевич с нежностью и удовольствием отвечал:

— Им нечем. У них теперь глаз нету.

Ну что же за смута боролась теперь Ивана Ивановича Могучего?! Ведь больше, чем когда либо, он был уверен в правильности своего поступка. Иван ополоснул под кухонным краном голову. Но все равно из глубины памяти ему слышался ее голос, теперь очень серьезный — и очень доверчивый.

— А когда я разморожусь? Меня вы разморозите?

— Я уже буду дряхлый, — Иван Иванович вдруг почувствовал защемление в области сердца и холод во всем остальном теле.

— Нет же, вы сами сказали, что скоро всё изобретут и все смогут жить вечно. Вы же сказали? А?

Вот этого Надиного «А?» Иван Иванович боялся больше всего на свете. А раньше не боялся ничего. В одной вопросительного характера букве слышал Иван Иванович безмерное согласие с ним, непостижимое — и этим страшное — доверие к нему, слышал теплоту тела, его податливость, его жар. Слышал шорох чужого сердца, которое терлось о его сердце. Слышал космический шум Байконура, писк микрочипов, программирующих мозг, скрежет нанороботов, которые заново делают человека. От того, что в этой вопросительного характера

букве стало вдруг для него заключаться ВСЁ, Ивану Ивановичу сделалось навеки страшно. И он готов был подтвердить для нее что угодно — и что угодно исполнить.

А Надя, замерзая, думала о том, что Иван Иванович непременно вскорости станет великим, а также изобретет что-нибудь невероятное — чтобы, когда она очнется от ледяного сна, встретить ее таким же молодым и красивым, каким она встретила его неделю назад в ласковой серокаменной монастырской келье, где теперь лежит сама. А он, склонившись над ней белым удивленным лицом, смотрит и смотрит, дурачок. Во сне время незаметно проходит. Она хорошо готова к будущему бессмертию. Только вот глаз дергается. Но это ерунда. Потом вставят вместо старого испорченного нерва новый — и все будет в порядке... И грудь как у Раисы... Хотя, может, Ивану Ивановичу Раиса и не понравилась бы... Да, и не забыть про усатого главврача... ему надо будет заменить два глазных нерва... хотя он же, наверное, уже умрет к тому времени... а может, и нет...

Она счастливо зажмурилась и в последний раз зевнула. Солнце на улице взошло ледяным и белым. Иван Иванович замкнул в себе безумный ужас неизвестности и подумал, что нужно снять белье с веревки, — к вечеру обещали грозу.

## СВЯТОЙ

Снег уже заметал дорожки возле институтского общежития. Казалось, общежитие брело по заснеженному белому миру, как грустный мамонт. Дворник ругался бранно, но брал лопату и греб, греб, греб. Студенты смотрели на снег и на дворника из грязных коридорных окон всех шести этажей и курили, курили, курили. А потом, раскиснув от тоски, которая непременно сопровождает смену сезона, шли в комнаты: девицы ревели, портя влагою библиотечные книжки, юноши с тоскою собирали деньги и засылали в магазин самого отчаянного и смелого. Отчаянные проскальзывали мимо охранников на вахте осторожно, будто танцевали какой-то старинный танец с расшаркиваниями и поклонами. На лицах лежала печать смирения и благодати. По этим признакам их и вычисляли. По возвращении отлавливали внизу и сурово наказывали. Рецидивистам грозило отчисление. Охранники скучно требовали расстегнуть и снять куртки, рубашки, раздевали, пока не высовывалось вдруг из самого неожиданного места, например из носка, бутылочное горлышко. И тогда девицы бежали в комнату номер 603.

Дверь в шестьсот третью открывалась не сразу. За нею долго пыхтели, шаркали, мычали, потом распахивали наконец. Девицы отшатывались, смущались, робели, краснели (или бледнели, кому как больше нра-

вилось). Они чувствовали проистекающее из комнаты нерасположение, проистекающее молчаливое негодование — и язык вяз во рту. Впрочем, и пусть вяз, можно было даже ничего и не говорить — жилец триста третьей всегда знал, зачем к нему пришли. Он молча распиливал девицу взором на мелкие кусочки, молча закрывал перед ее носом дверь, потом снова молча открывал ее, выходил, запирал дверь на ключ, спускался на вахту. И — так уж повелось — охранники выдавали ему и жертву, и конфискованное.

— Вас ждать, Адольф Абрамович? — робко спрашивал вызволенный, поднимаясь по лестнице вслед за жильцом из шестьсот третьей.

— Ждите! — презрительно командовал освободитель и, позвякивая чужими бутылками в обширных карманах халата, уходил к себе.

Освобожденный задерживался у коридорного окна, закуривал. На улице падал уныло снег, уныло надвигался тусклый вечер наступающей зимы, греб и греб снег дворник. И лопата его блестела под фонарями, которые зажигали раньше, чем наступала темнота.

Странный человек этот дворник, думал студент. Все время хмурый, а ночами не спит, бродит по общежитию. Жуткий какой-то. И лифт ночью иногда загудит так утробно. И в душевой в подвале вдруг раз — и выключился свет. Да, страшно, что ни говори. А дома сейчас как хорошо! Студенту, особенно первокурснику, хотелось по-детски зарыдать, прижавшись лбом к стеклу. Но стекло было критически грязным, возможно, в него даже плевали. И все вокруг было неухоженным, чумазым, мытым плохо, наскоро, только посередине. Углы жутко шевелились паутиною — и окурками в паутине, и тараканьими хитиновыми скелетиками. И снаружи где-то (но казалось, что в углах — такие они были неприятные) надвигалась темнота, и дул ветер — это было



слышно в форточку. И студент будто бы даже всхлипывал, внимая угасающей природе. Но потом вдруг, неожиданно даже и для самого себя, залихватски плевал на стекло, кидал окурки на пол и шел соображать закуску.

\* \* \*

В такие унылые дни доцент Адольф Абрамович, жилец шестьсот третьей, страдал. В такие дни он особенно не любил возвращаться из института в общежитие, где квартировал ввиду отсутствия благоустроенного быта. В его жизни вообще отсутствовала всякая благоустроенность. Вероятно, именно из-за того — впрочем, доказательств тому у нас нет несколько — Адольф Абрамович некоторое время назад впал в глубокое противоречие с самим собою, а заодно и со всем миром.

Был он человек совсем не старый, а можно сказать — почти молодой, если не смотреть на лицо, носящее следы жизни, а заглянуть в паспорт. Мама его проживала в Симферополе, где он мечтал бы остаться, по-детски любя ласковый климат. Но сведения о драмах Шекспира, полученные в кабинетах знаменитого филфака, на симферопольских виноградниках ни к чему не пригодились. И Адольф Абрамович понес свои знания обратно в дальний мегаполис, где на проявления его таланта откликнулась пара учебных заведений. Он выбрал то, в котором сам учился и в котором — он точно это знал — драмы Шекспира уважались больше. Искусно манипулируя фактами, он настрогал несколько передовых научных работ и даже получил премию. Более того, у него взяли интервью для газеты и пригласили в телепередачу как консультанта. А потом...

А потом Адольфу Абрамовичу показалось, что мир ни с того ни с сего ушел в глухую несознанку.

Бывает ли у вас такое? Сидите себе на даче, в райском уголке, попиваете чай с малиной... Или нет, лучше сидите в шезлонге где-нибудь на морском побережье, посаывая мудреный коктейль, любуясь второю половиною и вашими детьми, которые играют в похороны собаки с вашей собакою. Кругом райские благодати, впереди по расписанию — морские процедуры и массаж. Вторая половина посылает вам страстный и нежный воздушный поцелуй и, обнажив формы, убегает купаться с привлекательными соседками по отелю. Официант подносит вам свежий коктейль, вершину барменского искусства. И вдруг ваш организм впадает в беспросветное отчаяние — и вы неожиданно сообщаете себе и окружающим (они вас, правда, не слышат, так как заняты делами на некотором удалении от вас): а гори оно все синим пламенем! Да-да, так и сообщаете. И уезжаете стремительно в мегаполис, оттуда в загородный дом, где среди пальм в зимнем саду хандрите, пьете, а то и — не дай бог, конечно, — стреляетесь из антикварного пистолета!

И если даже вы, с вашей красивой и верной второй половиной, с послушными детьми, с вашими возможностями и зимним садом можете вдруг ни с того ни с сего взъерепениться, ощутить какую-то беспросветность существования, потерять вкус к жизни и замкнуться в себе, то чего же вы хотите от Адольфа Абрамовича?! У него сроду не было ни жены, ни детей, ни даже квартирки какой завалющейся в этом шумном, дымном, ехидном мегаполисе. Ничего у него не было, кроме интеллектуальных цепей. Но и те подводили, гремели с перебоями: научные работы, так чтоб с новинкою, с изюминкой, перестали у него получаться. Так бывает в жизни.

И в какой-то момент доцент почувствовал брошенность и ненужность. В следующий момент он оглянулся — и увидел, что среда его обитания убога и лишена

всякой приютности. Затем он посмотрел вперед — и увидел, что будущее ничего конкретного ему не обещает. Его научный талант не исчерпал ли себя?! Он обратил взоры по сторонам — и увидел, что и там для него нет ничего подходящего. А поскольку тылы его были беззащитны, жену между научными занятиями он не завел, утешить и наставить его было некому. Адольф Абрамович от отчаяния вовсе перестал интеллектуально трудиться. И стал жить в хаосе разочарования, недоумения и раздражения. И хотя был он человеком не злым, а скорее даже добрым, и хотя был он скорее доверчив, чем подозрителен, никто с этих пор не мог определенно сказать, какой же он человек — скорее положительный или все же определенно отрицательный.

\* \* \*

Как результат, в голове Адольфа Абрамовича включилась программа разрушения идеалов и самоуничтожения. Он перестал перечитывать Шекспира и вообще усомнился в его существовании. А чтобы унижить свою несчастную жизнь, пил и пил. Он так распоряжался: повергну, думал, себя в геенну презрения, а потом погибну на руках общества, пусть потом переживают. Погибель свою видел трагически — индивидуум падает и растоптан массами. Но подводила природная величавость организма. Организм шумел, хрипел, но испускать дух отказывался категорически.

А спустя несколько лет всем уже казалось, что именно такова и была планида этого некогда уважаемого молодого, если посмотреть в паспорт, человека. Знакомые с сожалением качали головами. И даже деревья, казалось, качали головами, когда шел Адольф Абрамович по темной улице домой. И фонари, казалось, качают своими светящимися головами, порицая его отныне не-

плодовитую жизнь. Когда он входил в пыльную комнату в шестом этаже студенческого общежития, то и грязные окна, и коврик на стене, и даже домашние тапочки, казалось, порицали его образ существования и назидали: так нельзя. Всё дома кричало: так нельзя! Именно поэтому Адольф Абрамович предпочитал проводить время в студенческих комнатах, где стены хоть и грязны, но легкомысленно приветливы и любвеобильны.

\* \* \*

Никто не мог сказать, хороший или плохой человек Адольф Абрамович. Однако же, когда в хмурые предзимние дни он особенно отчаянно страдал, в сердце зрела густая чернильная ненависть. Раздражало все, что шевелилось и существовало вокруг него — и помимо него. И в первую очередь он ядовито ненавидел своих студентов, прилюдно именуя их гуманоидами, грубил им и остервенело валил при каждом удобном случае. Неудержимой ненавистью он, конечно, не мог пересилить молодости того, что сидело в аудитории, записывало, смеялось, говорило — это поле зеленой свежей травы, которая растет и растет себе к небу, а когда придет время, даст семена и следующую траву. А он — лысый зимний куст, который не может выпустить ни одного листика, его надо корчевать, его пора рубить. Не хватало аскетического смирения, чтобы со спокойным сердцем повиноваться такому приговору. Ведь где-то в глубине памяти он знал себя другим. И этот другой считал, что завтрашний день будет лучше, чем нынешний! Этого другого себя он безотчетно видел и любил в студентах, в большой липкой разноцветной студенческой массе. Поэтому его грызла страсть печали — вязкая зависть к тем, кто еще будет кем-то. Из нее-то и гнал он, будто самогон, желчную ненависть. И точно так же, как

маньяк любит свою жертву и одновременно как жертва любит своего мучителя, Адольф Абрамович совершенно не мог обходиться без общества студентов.

Окружающим — в основном как раз студентам — шекспировед мнился фигурой неясной, демонической, но благоволящей. Вызывающей опасение, а через него — суеверное уважение. Спроси у них, кто на курсе лучший преподаватель, не думая, назовут Абрамыча, пусть даже тот накануне и завалил половину курса и назначил перезачет. Противоречивых поступков доцента объяснить никто не мог. Умом предполагали у него сильно обостренное чувство справедливости. Но всё же каждый подозревал, что этим дело не заканчивается, что там — какие-то глубины и бездны, может быть, даже судьба. И тем более внушительно выглядело его миротворческое вмешательство. И когда студент робко поднимался вслед за преподавателем по обшарпанной институтской лестнице, ему казалось, что даже полы застиранного доцентского халата испускали мистические флюиды.

С другой стороны, он редко бывал трезв — и студенты могли презирать его за гнилую жизнь, обижая в самые незащитные минуты. Именно за возможность презирать они и были к нему расположены всею душой. А если уточнить еще более, то студенты любили в нем возможность быть отмщенными.

...Когда Адольф Абрамович спускался со своего шестого на третий либо на четвертый этаж общежития, он обыкновенно бывал уже не в меру румян и пронзительно пах бутылкою. В окне плавала мутная, как и вся окружающая действительность, луна. Адольф Абрамович колыхался красной водорослью по лестнице, прислушивался у каждой комнаты, брезгливо морщил нос и наконец вторгался. Его встречали молчаливо, но в

предвкушении дополнительной радости. Преподаватель мало закусывал и быстро хмелел. А потом начинал вдруг говорить. А потом, как правило, лез драться. Наступал момент истины.

Его шутливо пихали, толкали, словесно дразнили. А разъярившегося держали внесколькером, несли холодной воды и обливали. Адольф Абрамович, в свою очередь, витиевато поносил студенческое сообщество и конкретного оппонента как его единицу. Делал он это мастерски, в несколько заходов, и мог довести некрепко стоящего на ногах оппонента до опрометчивого поступка. К счастью, утром он не помнил себя вчерашнего. И не знал, сколько унижений и тумачков перенес. Если просыпался с распухшим носом или глазом, то не к кому было ему даже и обратиться — не помнил точно, в какой комнате выпивал. Иногда он уточнял на вахте личность того, кто был задержан накануне, но это так, для общей эрудиции. Стыдно было устраивать разборки собутыльнику. Ну разве что зачет при случае не поставить или на экзамене завалить. С утра доцент вновь становился демоническим персонажем институтской жизни.

\* \* \*

На рассвете в среду, а может, во вторник, Адольф Абрамович по обыкновению вывалился из кровати на мохнатый половичок и долго сидел, соображая, откуда у него ссадина на подбородке и где могут водиться в комнате чистые носки, а может быть, даже и нижнее белье. Так прошел час.

Потом он обнаружил, что его обычный костюм готического черного цвета мокр до нитки, и пригорюнился. Так прошел еще час. Потом шекспировед пошарил в поисках завтрака в холодильнике и шкафчиках — и, увы, не отыскал ничего, похожего на пищу.

...И не испытать жалости к одинокому Адольфу Абрамовичу в такую минуту может только самый жестокосердный, самый черствый человек! Мы же, видя, как Адольф Абрамович, сидя на коврике, по-детски обхватив волосатыми руками узловатые коленки, уныло взирает на свое холостяцкое обиталище, мы же, сочувствуя, едва не роняем слезу! Но потом все-таки восстанавливаем справедливость и вспоминаем, что одиночество Адольфа Абрамовича проистекает только лишь от его собственных сарказмов и противоречий натуры. Вы же сами понимаете, что в стране, где не всякий мужчина долетает до середины жизни, где обилие красивых, умных и образованных женщин на один квадратный километр, а тем более на один вуз, превышает все мыслимые пределы, в такой стране даже и пороссячий хвостик сойдет за мужчину. А уж такой романтический экземпляр, как Адольф Абрамович, никогда не останется без внимания лучшей половины человечества: помыть его, почистить — и можно пользоваться.

Действительно, окружающие отмечали, что во внешности Адольфа Абрамовича есть что-то душещипательно гамлетовское. Он высок, тощ, хмур. Хмурость физиономии романтически привлекательна. Голова украшена небогатой по количеству волос, но довольно выразительной прической — она длинно нависала на лицо, и Адольф Абрамович мог бравадно отбрасывать ее ладонью или собирать в артистический хвост. Одевался он тоже романтически — всегда во все черное.

Правда, если бы кто-то захотел проверить содержимое его карманов, то непременно обнаружил бы там отнюдь не романтический, существующий комочком несвежий носовой платок. Этот жилец кармана любил выпрыгнуть на волю в самый неподходящий момент: во время какой-нибудь конференции, ученого совета или — совершенно уже опасно — на глазах студенческой

аудитории. Особенно часто случалось такое во время лекций о Шекспире. Сказывалась привычка в минуты волнения или особенного увлечения предметом беспрестанно совать руки в карманы.

Но все, даже студенты, понимали, что достать грязный и вложить свежий платок в карман шекспироведу некому. И в носках он иногда ходил по несколько дней, забывая снимать их и на ночь. Но разве в наш ядерный век женщин останавливают грязные носки? И только в институте было штуки четыре приличных дам, положивших глаз на Адольфа Абрамовича. Они делали ему комплименты. Они наперебой угощали его печеньями. И даже приглашали к себе. Но Адольф Абрамович не шел. (Хотя стоило, стоило пойти! Тогда, возможно, не случилось бы с ним того, что с ним в итоге случилось.)

Одною дамой была сама деканша заочного факультета. Она отличалась таким густым потусторонним басом, что первокурсники долго бывали в растерянности, всякий раз не понимая, кто с ними говорит — милая худощавая женщина или дух комнаты. Из-за голоса ее прозвали «Шаляпиным», имя же и отчество студенты совсем позабыли, хотя сочетались они красиво — Нелли Петровна. Научные интересы деканши настойчиво пересекались с интересами объекта, но тот старался избежать даже научного общения.

Вторая дама, Томочка, читала русский язык, носила крупные бусы и густо красилась — потому что женщина она была давно одинокая. Третья, Валерия, служила в институтской библиотеке и завивала волосы в мелкие кудряшки, отчего казалась намного старше, полнее и скучнее. Четвертая, Эльвира Грибоедова, называла Адольфа Абрамовича Адиком... Впрочем, будь и пятая, и шестая, да хоть сто двадцать восьмая! Адольф Абрамович протяжных отношений ни с кем не заводил, полагая, что не родилась еще женщина, способная оценить



по достоинству его природные умственные способности. Сам же он никого не любил.

\* \* \*

...Поэтому слезы сочувствия у нас быстро высохли. И сейчас мы попытаемся вспомнить, какой же был день — вторник или все-таки среда, когда Адольф Абрамович появился на рабочем месте не в обычной своей романтической черной одежде, которая была мокра, хоть выжимай. А надел, страшно стесняясь, ни разу не надеванный белый свитер, собственноручно связанный мамой. Гардеробщице Уле, завидевшей сияние из-под мрачного его пальто, сразу показалось, что это дурной знак.

Но Уля, третьекурсница, подрабатывающая в гардеробе, была девушка экзальтированная и верила во всякий бред. Она рассказывала потом соученикам, от восторга теребя пирсинг в носу, что Адольф Абрамович показался ей святым, во всяком случае, он весь светился. И от этого ей, Уле, сделалось как-то не по себе...

Помнится, отчитав лекции, Адольф Абрамович забрал в тот день в деканате курсовые — на проверку. (Значит, все-таки была среда.) В гардеробе с облегчением натянул на сияющий белый свитер свои суконные черные доспехи и под мокрым снегом зашагал прочь. Курсовые оттягивали руки, и Адольф Абрамович в унисон земному притяжению задумался о тяжести и никчемности существования.

Дома, стянув роскошный свитер, надел вместо него заношенный махровый халат. Поужинав салатом и застывшей котлетой, прихваченными из институтской столовой, он вытряхнул курсовые на кровать и начал читать. Студенческое воображение обыкновенно вызывало у него клокотание организма и почти тошноту. «Анна и Вронский сошлись совершенно новым, непри-

емлемым для страны способом...» Он лохматил небогатую растительность на макушке, возмущенно тер лоб, выдыхал ругательные слова. Но по своей природной противоречивости делал все это с затаенной радостью, которая тотчас снова сменялась горечью и досадой. Наконец, бросив глупейшее занятие, сел проверить электронную почту.

В ящичке лежало новое письмо. Адольф Абрамович обрадовался, потому что в глубине своей нелюдимости все-таки страдал от одиночества. «Это письмо создано роботом, поэтому не стоит на него отвечать». Адольф Абрамович разочарованно вспомнил, что накануне зарегистрировался на каком-то научном сайте.

В дверь постучали. Адольф Абрамович обреченно и шумно вздохнул и направился к шкафу, где хранил кухонную утварь, а также макароны. Там же хранились и остальные продукты — соль и лук. Достав графинчик, он отполовинил в стакан. Отыскал среди утвари головку лука, очистил ее. Несколько раз он выдыхал и кашлял, смотрел удивленно на стакан, словно тот появился незнамо откуда. В дверь постучали снова. Адольф Абрамович издал возмущенный вопль: «Подождите!» — оставил стакан наполненным и пошел надевать тапочки.

...Спускаясь по лестнице за хиленькой белобрысой студенткой, Адольф Абрамович гадал, кто же попался в лапы охраны сегодня. Может, Степанов? У него в наличии всегда красное, это не очень хорошо, но закуска вполне прилична. А если Медведев? Хм, этот всегда отделяется макаронами, да и свинья, зато там бывает Птичкин, а ему давно пора высказать в самых резких выражениях. Но лучше бы, конечно, Сергеев. Сергеев был умен, пил хоть и дешевый, но коньяк, жил чисто, знал Шекспира.

У вахты стоял, тягостно вздыхая, Сергеев. Обе штанины его было подвернуты до колен.

Сергеев представлял собою тяжелую лохматую голову, приляпанную к плечам неаккуратным бугром. Брови его дымились рыжим дымом над маленькими пронзительными глазками, а рот все время улыбался. Тело являлось скромным приложением к голове и выполняло только подсобную физиологическую функцию — девушки любили Сергеева не за стати, а за умственную удаль и веселое бесстрашие во всем. С таким бесстрашием засовывал он, например, бутылки плохого коньяка в носки. Сверху опускал широчайшие штаны, которыми, естественно, привлекал внимание охраны. Можно было даже подумать, что ему нравится вот так лихо привлечь внимание...

— Заглянете на огонек? — приветливо спросил спасенный Сергеев.

— Приду! — с готовностью возмутился Адольф Абрамович.

На своем этаже Сергеев задержался у окна, подпалил сигаретку. А некурящий Адольф Абрамович понес свое тощее тело на верхний этаж, равномерно позвякивая халатом. В комнате он освободил карманы, пристроив коньяк на подоконнике, и отправился в общую прачечную. Он намеревался загрузить в стиральную машину носки и белье, дефицит которого испытал утром. А уже потом, помучив изрядно Сергеева и компанию, явиться спасительно. Приятно, когда тебя ждут.

В прачечной, плавно переходившей в общую умывальную комнату, кто-то громко возился. Адольф Абрамович, как всякий нормальный мизантроп, сделался недоволен, скорчил злое лицо, но вошел решительно и глядя прямо перед собою. Все машинки озабо-

ченно гудели, крутя чужое тряпье. Адольф Абрамович содрогнулся, оттого что придется стирать вручную, однако носки нужны были категорически срочно, те, что на нем выразительно пахли.

У окошка, склоняясь над зеленым тазиком, установленным на подоконник, манипулировал какой-то человек. Ему тоже не хватило машинки. Адольф Абрамович увидел его краем глаза, а потом только слышал, потому что сразу отвернулся, не желая общества. Впрочем, человек, показался ему незнакомым, в общечитии такого ранее не встречалось. Может, гость. Может, припоздавший на сессию заочник. Впрочем, было в этой возившейся фигуре что-то смутно знакомое. Адольф Абрамович даже на секундочку повернул голову и присмотрелся. Спина сгибалась и разгибалась. Нет, показалось, наверное. Ни у кого не припоминал он такой худобы и сутулости. Хотя... Он затревожился, пытаясь соотнести свое смутное узнавание с объектом. А, вот же! Вот же! У стирающего худого точно такой же зеленый тазик, как и тот, в котором Адольф Абрамович принес белье! Вот что показалось знакомым! Тазики продавались по сто рублей в хозяйственном магазине по соседству. Адольф Абрамович удовлетворенно вздохнул, набрал в свой тазик воды и, пристроившись на другом подоконнике, приступил к стирке.

\* \* \*

Отстирав, а затем развешав носки по всей своей комнате — один примостил даже на форточку, — он еще почитал курсовые. А потом отправился в гости к студенту Сергееву. На лестнице между шестым и пятым этажами шумела молодежь. Бутылки в карманах преподавательского халата приветливо позвякивали. На звяканье обернулось несколько человек.

— А вот и наш герой. Вы с шестого идете? Что на лифте не катаетесь? Расскажите, как поживает ваша мамочка, что она написала сыночке в последнем письме? — сказал почему-то Птичкин сразу практически трезвому шекспироведу. Такого не бывало раньше. Хамить начинали после бутылки-другой. Адольф Абрамович от эакого нахальства остолбенел.

— Нет, он сейчас прочтет нам что-нибудь из «Макбета». Прочтете? — сладким голосом сказал Степанов.

— Нет, лучше расскажите, Адольф Абрамович, как вас чуть не выгнали из института за то, что вы кровать в окно выбросили, — сказал в свою очередь Медведев.

— Я тут перечитал Шекспира. Поэтишко, скажу вам, весьма средний, — подмигивая приятелям, сказал незнакомый студент.

— Что это вы себе позволяете?! — необычно высоким и трезвым голосом прокричал шекспировед. А потом вдруг оробел — студенты переглянулись, придвинулись вдруг поближе. А Птичкин наклонился к доценту, как трава под ветром. Так они застыли и стали тянуть носом воздух, вроде как принюхивались. Адольф Абрамович не на шутку перепугался. Но вдруг студенты отпрянули и забубнили хором невнятное: ну, мы, это, просто так получилось, пошутить хотели, как-то так, извините, нечаянно вышло, мы ничего, так вышло, простите, хмель и все такое, пошутить решили, дураки, простите, челом бьем...

Адольф Абрамович замялся, не сообразив сразу, что сказать, а потом зыркнул сурово.

— Послезавтрашний зачет переносу на завтра. Передайте всем.

И пошел обратно к себе в комнату, воинственно бряцая стеклом, обдумать происшедшее. Трезвым он не привык встречать неожиданные дерзости и был весьма смущен. И в первую очередь предполагал за собою

какой-то казус внешности, вызвавший такое бурное хамство. Но из глубин зеркала смотрел на него все тот же он, безо всяких казусов. Адольф Абрамович аккуратно, сантиметр за сантиметром изучил свое отражение и, не найдя особенных дефектов, сел на кровать думать. Однако носок, висевший на форточке, а также и тот, что висел на спинке стула, а заодно и те носки и все мокрое белье, что по лежало в комнате на всех выступах, раздражали его зрение и мешали мыслительному процессу. Предметы одежды навевали тоску своею влажностью. Угрюмость предвзвешенного сырого вечера засуетилась вокруг Адольфа Абрамовича, лизнула в нос, потрогала за уши, проникла под халат. Он ринулся прочь из комнаты.

В коридоре было тихо, и Адольф Абрамович решил двигаться в направлении комнаты Сергеева другим путем, желая избежать хамов, а с самим Сергеевым серьезно поговорить о приличиях. Оглядываясь и припадая к стене, добрался он до лифта и нажал кнопку. В лифте было сыро и хмуро, но тесно, утробно — и оттого спокойно. Адольф Абрамович подумал, что хорошо бы посидеть немножко в лифте, как в детстве он сидел в маминой кладовке, пахнущей старой одеждой. И стал нажимать разные кнопки.

И когда через полчаса преподаватель вошел в комнату студента Сергеева, толкнув обитую желтой клеенкой дверь, он был в добром расположении духа.

\* \* \*

Студент Сергеев сидел за столом и не вязал лыка. Его большая голова покачивалась и улыбалась.

— Вы уже вернулись! — блаженно проговорил Сергеев и закачался еще сильнее.

Адольф Абрамович хмыкнул, шагнул к столу, выставил коньячные емкости. Потом он обратил внимание,

что вокруг есть лежащие и сидящие люди. Потом он обратил внимание, что на столе и под столом есть пустые бутылки. Потом сообразил, что, кроме него, активных пьющих уже не осталось, удивился, что его не дождались, уселся за стол спиной ко входной двери и приступил. Перед ним умиротворенно покачивался Сергеев. За Сергеевым в неудобном сыром заоконье шумели и гудели признаки наступающей зимы, махали лапами, как утопающие, серые холодные деревья. Оконная рама шаталась, приоткрытая для свежего воздуха.

Но не успел Адольф Абрамович в полную силу приступить, как открылась дверь. Адольф Абрамович услышал ее нежный скрип. Сергеев поднял голову — и легко засмеялся. По-честному — именно за этот ветреный смех, а не за ум, его и любили девушки.

— Смотрите, а его два!

С кроватей поднялись призраки и устались в пространство глупыми пустыми и веселыми глазами.

Адольф Абрамович, который уже размяк в здоровой обстановке студенческой комнаты — забыл про свои носки, неудобно обнимающие углы и предметы в его комнате, забыл про хамов Птичкина и Медведева и про свою неустроенность в мироздании, помнил только маму, Симферополь и любимый свой шестьдесят шестой сонет Шекспира, — неторопливо повернулся к двери всем телом. Губы его дошептывали: «Все мерзостно, что вижу я вокруг... Но как тебя покинуть, милый друг!» И в левом глазу его светилась слеза умиления и готова была уже сорваться и упасть на выцветшие полоски халата. И когда сонет закончился, а слеза упала, Адольф Абрамович сосредоточил зрение на дверном проеме.

И вдруг он понял, что в дверном проеме стоит он сам, собственной готической хмурой и весьма нетрезвою персоной, воинственно теребит пояс выцветшего халата. А глаза его — того, что в дверном проеме, —

бегают невменяемо и с ужасом останавливаются на нем сидящем. Конечно же, с ужасом — потому что в таком состоянии нормально видеть зеленых чертей, белых лошадей или розовых слоников, но никак не себя! Сидящий же Адольф Абрамович резко вспотел, громко закричал и ринулся к приоткрытому окну.

\* \* \*

На этом рассказ наш мог бы вполне закончиться. Но, видите ли, диагностическое описание алкогольного делирия особо извращенной формы — не писательское дело. Это дело волосатого горбоносого доктора, в руки которого надолго попал уважаемый Адольф Абрамович.

По счастью, добежать до окна и совершить непоправимое помешал стол — обширный, изъеденный временем, а также, судя по глубоким следам на столешнице, голодными студентами. Стол развернул свою спасительную плоскость в паре метров от окна. И Адольф Абрамович дикою ласточкой перелетел через него и, успев сгруппироваться, попал ровнехонько в щель между столом и чугунною батареей, о которую сильно ушиб бок.

...Горбоносый доктор — кажется, его фамилия была Иванов, может быть, вы его знаете — внимательно слушал пациента, тщательно записывал. Он извел не одну тетрадь к тому моменту, как наш герой покинул сие богоугодное заведение. Доктор готовил диссертацию, и Адольф Абрамович, который понял и уважил страсть доктора к своей науке, рассказывал все в точности, не забывая и самую мелкую мелочь, да и еще придумывая по ходу разные подробности и обстоятельства.

Поначалу Адольф Абрамович рассказывал свою историю вдохновенно. В нем живо было изумление того странного и многозначительного вечера. Он видел в этом знак, указание и пророчество. Но через неделю на-



чал понимать, что его здоровье, вероятно, сильно расстроено неумеренной жизнью. Если уж и на почти трезвую голову ему мерещиться всякое.

— Вы, дорогой мой, человек научного склада, — оторвавшись от конспекта говорил доктор. — И вы должны понимать, что пить вредно.

— Да-да, я понимаю, понимаю, конечно, — робко бормотал пациент. Доктор внушал ему страх умением проникать в психологические глубины.

— Вы должны понимать, что сегодня вы видите себя, завтра — чертей, послезавтра слонов, а на следующей неделе выкинетесь, не дай бог, из окна. Такое с нашими больными случалось, да уж.

Пациент в страхе замирал, осознавая, что незаметно для себя пропустил легкие стадии чертей и слонов и сразу перешел к тяжелой стадии самовыбрасывания, которая не состоялась по чистой случайности. Так что дальнейшее не на шутку его пугало.

— Я понимаю, да-да.

— Вам нужно прийти к нормальному образу жизни. У вас есть семья? Нет? Заведите. Это необходимо для излечения.

Доктор тем временем закончил конспектировать и подошел к стеклянному шкафчику, вынул мензурку и две рюмки. Но, опомнившись, стыдливо убрал одну. Впрочем, пациент ничего не заметил, так как лихорадочно соображал, с кем бы ему тот же час как выйдет из больницы, завести семейные дела. Можно с деканшей. А можно с той, которая из библиотеки, только кудри ей распрямить. Или лучше пусть его, как в детстве, называют Адиком? Ах, все равно, лишь бы помогло!

Кстати, доктор скоро защитил диссертацию. Профессура аплодировала ему стоя. А потом все спрашивали диссертанта, можно ли найти этого больного, чтобы

использовать его для опасных научных экспериментов. Но горбоносый доктор, человек высоких моральных качеств, не сдал Адольфа Абрамовича бессердечным людям, которые для опытов не пожалели бы и родной матери. А чтобы в дальнейшем воспрепятствовать возможному посягательству на жизнь и свободу уникального пациента, он сжег все бумаги и медицинские карты, которые могли бы вывести научных шпионов на след нашего героя. Поэтому если вы — любитель бесчеловечных научных экспериментов, то со злорадством сообщаем вам: история болезни Адольфа Абрамовича утеряна навсегда. Будто ее и не было.

\* \* \*

В тот день, когда Адольф Абрамович, выздоровевший, свежий, в белом свитере, которого он больше не стеснялся, а даже предпочитал, явился в институт, стояла солнечная погода. Это был редкий сияющий зимний день, когда не только детям, но даже и старичкам, да что там старичкам — вахтерам и военкомам! — хочется нечленораздельно кричать и валяться в снегу.

Институт гудел, как обычно бывает между лекциями. Студенты вышли во двор, и казалось, будто двор был застелен большим лоскутным одеялом. Все здоровались с Адольфом Абрамовичем. Но он заметил холодность и отчужденность. «Наверное, они давно меня не видели и позабыли», — думал он радостно. Как у школьника в день первого сентября все внутри замирает, так замирало и у него, оттого что он теперь вновь хочет продуктивно жить и научно трудиться.

— Когда нам передавать? — к шекспироведу хмуро подтянулись несколько студентов. Он удивленно расширил глаза, но вспомнил, что назначал зачет — еще тогда, до кризиса, давно, в среду.

— Ну придите завтра.

В деканате паркет был завален курсовыми, приближались экзамены. Эпикризов пошевелил бумажную кипу. Все разъехалось, и он кинулся подбирать. Он сидел на полу и с радостью и умилением читал первое попавшееся: «Бедная Лиза рвала цветы и этим кормила свою мать». Подумайте, мать кормила! «Какой идиот это написал?» — любовно думал преподаватель и перебирал всех идиотов на соответствующем курсе.

Он дошел как раз до середины списка, когда что-то пробежало у него по шее. Он думал, это муха. Но была все-таки зима. Значит, что-то иное стремилось к нему за ворот. Таракан? Адольф Абрамович к тараканам относился лояльно — если пробегали они мимо, по своим тараканьим делам, шевеля задорно усиками, поблескивая спинками. Иногда он даже метил комнатных тараканов тушью или белой краскою штриха — чтобы узнавать своих. Однако тараканов-нарушителей, которые вторгались в его личное и в особенности телесное пространство, не терпел. С детства боялся, что таракан заползет в ухо и поселится в мозге, серою массой которого и будет питаться. Потом Адичка вырос в доцента и теперь хоть и общеобразовательно, но разбирался в человеческой анатомии. Однако осадочек остался.

Ага, значит, таракан. И тогда он хлопнул себя по шее. Таракан громко вскрикнул. Адольф Абрамович лупанул еще раз, на всякий случай. Таракан взвыл шалашинским голосом. Тогда Эпикризов все понял и от неожиданности рассыпал курсовые.

А деканша стояла позади него и одною рукой держала другую, красную или даже ближе к лиловому. Рука пухла на глазах. Нелли Петровна сквозь слезы причудливо, волнообразно улыбалась — то правый уголок рта растянется у нее в улыбку, а левый опустит трагически,

то наоборот, улыбнется левый, а правый крючком за-  
гнется вниз.

— Напугался, милый? — проговорил улыбающийся  
уголок.

Говорят, если человек чего-то сильно хочет, то же-  
лание сбывается. Адольф Абрамович эту нехитрую муд-  
рость, конечно, знал. Но вот хотел ли он Нелли Пет-  
ровну в жены так сильно? Он взглянул на лацканы ее  
пиджака, которые лежали необыкновенно прямо и ров-  
но, и засомневался.

А вот Нелли Петровна ни в чем не сомневалась. Она  
подошла к шекспироведу и обняла его здоровой рукою,  
а потом оглушительно поцеловала. К счастью, в деканат  
вошла Эльвира Грибоедова.

Мы бы, конечно, на месте Адольфа Абрамовича не  
торопились делать выводы, к счастью или к несчастью  
Эльвира Грибоедова восстала перед ними в тот самый  
момент, когда Нелли Петровна прижималась плоскими  
своими лацканами к его романтической груди. Эльви-  
ра Грибоедова преподавала эстетику и слыла знатоком  
прекрасного. Она писала научные работы о древнегре-  
ческой скульптуре и понимала толк в мужских торсах.  
От Нелли же Петровны, отравлявшей с некоторых пор  
ее эстетическое самочувствие, Эльвиру Аполлоновну  
тошнило. Поэтому вряд ли удивительно, что Эльвира  
Аполлоновна кошкою бросилась на Нелли Петровну,  
бросилась, растопырив эстетически прекрасные нама-  
никоуренные ногти, бросилась с визгом вакханки в  
разгар оргии. Адольф Абрамович был поражен женской  
страстностью — и предпочел бежать.

Прыгая через две ступени, он преодолел лестницу  
и спрятался в ближайшей аудитории, плотно закрыв  
дверь и прижав ее обеими руками на тот случай, если  
кто-нибудь вздумает ломиться.

Аудитория вытаращилась на взмыленного преподавателя тридцатью парами глаз.

— У нас же утром уже была ваша пара! — застонали студенты, которые предвкушали последнюю, необременительную лекцию, а затем и свободу. Адольф Абрамович подскочил, как ужаленный олень, и затравленно посмотрел во все тридцать пар глаз сразу — как в одни большие страшные глаза, полные непонятной космической темнотой. И снова ударился в бег.

Иван Сергеев — а это как раз был его курс — смотрел вслед доценту, и на лице у него отразился целый калейдоскоп разнообразных переживаний. В конце концов лицо его приняло озабоченный и тревожный вид. Он собрал сумку и покинул аудиторию.

\* \* \*

Да-с, местами в жизни все происходит слишком уж кучеряво. И продраться сквозь эту петрушку никак невозможно. С такими мыслями Адольф Абрамович выпрыгнул за забор учебного заведения и скачками двинулся к бульвару. На бульваре, среди голых деревьев, ему просторней думалось.

Итак, соображал беглец, присев на красивую лавочку, я пришел в институт только после обеда, но студенты уверяют, что слушали мою лекцию с утра. О чем это говорит? Он надолго задумался, но ничего не придумал. И перешел ко второму вопросу: к нахальному поцелую Нелли Петровны. Здесь все понятно более или менее — Нелли Петровна спятила. Что же касается Эльвиры Грибоедовой, то Адольф Абрамович всегда считал Эльвиру Аполлоновну дамою экзальтированной и ожидал от нее чего-нибудь такого. Поэтому над последним вопросом можно было вообще не трудиться. С чувством выполненного долга он встал с лавочки и отправился домой.

Дом, милый дом! Облезлое общежитие с широкими лестницами, здание, куда Адольф Абрамович раньше приходил с сердцем, замкнутым на ключ, комната, которая напоминала ему, что все письма, которые он получает по электронной почте, написаны роботами. Но если бы сейчас кто-нибудь посмел сказать шекспирове-ду, что это не дом, а пристанище для неудачников, он бы только радостно рассмеялся в ответ. Доктор Иванов, кажется, неплохо поработал над его психологическим тонусом. Да и женщины изрядно его напугали, так что теперь он мечтал скрыться в своей пещере.

Охрана на вахте вытянулась перед ним в струнку и стояла так. С чего бы это? Но все равно приятно.

— Вам записка.

Адольф Абрамович открыл бумажку:

«Адик, суп в холодильнике. Эля».

Адик, суп в холодильнике. Суп в холодильнике, Адик. Ага, в холодильнике есть суп. А кто такой Адик? Адик — это уменьшительное от Адольф. Ага. Адольф — это я, — поступательно рассуждал он.

И если бы в записке стояло просто: «Адик, суп в холодильнике», или «В холодильнике есть еда», или «Пошарься в холодильнике», все было бы не так страшно. Ну мало ли, забывчивый человек сварил суп и оставил его в холодильнике. А себе написал записку — чтобы не забыть, где искать суп. А чтобы не забыть, что написал себе записку, отдал ее вахтерам — с требованием вручить по возвращении домой. В этом есть логика.

Но что значит «Эля»? Что значит этот странный шифр, эта аббревиатура, эти рунические письмена? Только одно пришло на ум Адольфу Абрамовичу. В памяти у него мелькнула хищная рука, которая грубо вторгается в прическу Нелли Петровны. И он понесся вверх по лестнице, надеясь не обнаружить в холодильнике супа.

Но суп был. Суп был с мясом. Суп был красивый, с зеленым укропом и желтыми льдинками жира. Суп варил не Адольф Абрамович. Свою руку он бы узнал. Он разрезал картошку только на две половинки, чтобы сэкономить время, и всегда для густоты кидал в любой суп побольше макарон. Сейчас макарон в кастрюле не было. Суп варил кто-то другой. Суп варила Эльвира Аполлоновна Грибоедова.

— Что у меня с ней?! — спросил шекспировед у супа и заплакал от безнадёжного непонимания.

Вечер и ночь он провел в тихом потном ужасе, каждую минуту ожидая прихода изготавительницы супа с ее законными требованиями. Ведь каждый понимает, что если в домашних условиях был изготовлен такой сложный продукт, как суп, то все требования повара, следующие за поеданием супа, вполне законны и обоснованы. Например, прибить полочку в ванной или починить розетку. Но Эльвира Аполлоновна не пришла. К утру Адольф Абрамович уснул.

Несколько раз в течение вечера и ночи к его двери неслышно приходил студент Сергеев. Стоял и слушал. Тишина вытекала из замочной скважины, иногда в комнате что-то тихо шуршало, что-то не больше мышки. Сергеев уходил. Но спать не мог до самого утра и стоял на темной лестничной клетке, пуская в форточку дымы. Его обуревали кошмарные думы.

\* \* \*

Утром Адольф Абрамович, растеряв за время бессонной ночи весь налеченный у доктора Иванова положительный потенциал, мизантропом и неврастеником явился в институт. Гардеробщица Уля, выпучив глаза, оглядываясь почему-то в глубь раздевалки, словно что-то искала там, на занятых чужой одеждой вешалках,

приняла пальто и трясущимися ручонками выдала номерок. Уля, как девушка молодая и любознательная, не так давно обратилась в буддизм, и теперь ей было не по себе — она впервые видела человека, бывшего так близко к святости. Она объясняла потом студентам, а также Эльвире Аполлоновне, Танечке и Валерии, которые недоуменно пожимали плечами:

— Смотрю, он снова мне пальто протягивает. Испугалась ужасно! А потом думаю, чего пугаться-то. Думаю, вот сейчас они встретятся и состоится самое великое для нашей эпохи событие... — Уля в волнении дергала себя за маленькое колечко в щеке. С начала нашего рассказа колечек на ее лице прибавилось. Дамы оглушали раздевалку восклицаниями восторга и бежали разыскивать преподавателя философии, чтобы выяснить, действительно ли реинкарнация считается оконченной, когда человек встречается сам себя.

Но мы не станем, во-первых, забегать вперед, а во-вторых, останавливаться на дамских рыданиях. Цену таким слезам мы знаем не понаслышке, а в случае чего и сами можем порыдать. Процесс этот, если уж он начался, неостановим и необъясним. Спросите десятерых женщин в такой момент, что с ними творится, — и девять заплачут еще горше и ответят сакраментально: «Не знаю-у-у-у». Только редкие дамы, в основном работницы интеллектуального труда, всякие профессорши, директрисы, трудовая задача которых — мыслить логически, могут собрать в критическую минуту ресурсы мозга и сузить: «Мне грустно». Поэтому оставим мужьям наслаждаться рыданиями своих верных жен (надеемся, что до антикварного пистолета дело в этом случае не дойдет), а сами вернемся к злоключениям Адольфа Абрамовича, который, отдав пальто удивленной гардеробщице, последовал в деканат. На вытянутой



руке перед собою нес он больничный лист, который не успел отдать вчера, в свой первый после болезни рабочий день.

В деканате бегал ветер, тревожа бумаги на столах. Нелли Петровна, отгородившись от мира темными очками, изучала печатную продукцию. Она сухо приняла то, что молчаливо протянул ей подчиненный, впилась в документ очками. А потом недоуменно сняла очки, обнажив слева несозревший, еще красный синяк.

— Отчего вы не уехали? Вы же взяли отпуск, собрались... И что это вы сюда бегаєте через каждые пять минут? И что это вы мне суєте? — то ли обиженно, то ли кокетливо басыла она и тыкала очками в синенький листочек.

— Куда это я вдруг собрался? Никуда я не собирался... А это, собственно, больничный, который государство должно мне оплатить, — ядовито процедил шекспировед, раздражившись синяком. Синяк напомнил ему, что где-то недалеко рыщет в поисках законной добычи творительница супа Эльвира Аполлоновна.

— Адольф Абрамович, я эту липу не возьму! Когда это вы болели? В эти дни мы с вами ходили в кино, а также в бассейн два раза! — лукаво и еще более кокетливо щурилась Шалаяпин в сторону доцента.

— Я не пойму ваших шуток, уважаемая Нелли Петровна, — пожал плечами Адольф Абрамович, весьма уже рассердясь.

— Ах вы решили устроить балаган? Вы решили издеваться надо мной? За что, я вас спрашиваю?! За что?! За то, что я расположилась в вашу сторону всею душой? За то, что я вас полюбила как возвышенного человека? — низкие частоты становились опасны для ближайших к Нелли Петровне живых организмов. Рыбки в аквариуме на подоконнике ушли на дно и затаились под защитой глиняного черепка.

Визитеру тоже захотелось залечь на дно, так как он оробел от такой ясности высказывания. Но он быстро воспрял и ответно сотряс воздух, но высокими частотами:

— Это вы решили создать мне невыносимые условия. Одна больничный, видите ли, не берет! Берите, берите больничный!.. — совал он листочек начальнице. — А вторая мне еще и суп сварила! Сварила, обманным путем проникнув в комнату!

— Она сварила тебе суп! — Нелли Петровна побледнела и опасно приблизилась. — И ты посмел его есть?!

Бывают моменты в жизни, когда ни за что нельзя говорить правду. Нельзя — и всё, ради жизни на земле. Хоть на куски режь, хоть пилюю пили. И вот сейчас в буквальном смысле слова решалась судьба нашего героя. Поэтому ради жизни на земле он собрал все мужество и заявил Нелли Петровне:

— Суп был весьма вкусен и красив.

...И все-таки, надо вам заметить, Федор Шаляпин не имел таких голосовых данных, какие имела Нелли Петровна. Военная кафедра в полном составе побежала открывать бомбоубежище, предвкушая военные действия...

Вы, может быть, спросите, а чего ради Адольфу Абрамовичу было врать? Скажи он чистую правду, дама бы обрадовалась — ведь суп соперницы остался без внимания. Она заключила бы своего героя в объятия и осталась бы с ним навеки. Но в этом-то все и дело! Было совершенно ясно: посмей он презреть суп вербально, то сразу же оказался бы в руках у этой сирены. Ведь какой единственно правильный вывод она могла сделать из этого презрения? Правильно: «Он не ел ее суп, потому что любит меня». А потом от нее не отделаешься.

— Суп был весьма вкусен и красив, — высокопарно произнес шекспировед. Он мнил себя знатоком женской

психологии. Воображал, что отделался, счастливо избежал, что объехал на хромой кобыле докучливые приставания начальницы. Но вы знаете, что сказала ему Нелли Петровна? Обладая большой жизнеутверждающей силой, позволяющей ей, как, впрочем, всем женщинам на свете, делать далеко идущие выводы, она сказала:

— Я знаю, ты хочешь, чтобы я тебя поревновала. Это глупо, дорогой.

Витиеватость ее соображений повергла возлюбленного в тревогу. Сердцебиение его участилось от осознания того, что в жизни все запутывается невообразимо. Нужно было срочно отползать огородами.

\* \* \*

В мужском туалете стояла пронзительная тишина. Наверное, во всем институте — да что там, во всей вселенной! — для Адольфа Абрамовича это было единственное безопасное место.

Он сел на крышку унитаза. «Когда это вы болели?» Неужели от любви можно так помешаться? А ведь уважаемая женщина. Доцент сосредоточился и начал думать о происходящем. Но в туалет вошел Сергеев. Он остолбенело вытаращился на открытую кабинку, где в позе мыслителя обрабатывал полученную информацию преподаватель. И направился прямо к нему.

— Надо поговорить, — Сергеев отбросил все церемонии, взял преподавателя за плечо и подвел к зеркалу: — Посмотрите внимательно... Внимательно, я говорю. Это точно — вы?

Адольфа Абрамовича уже ничем нельзя было удивить, и он ответил расслабленно, словно в полузабытьи:

— Это я.

Сергеев потер лоб и тоном врача, открывающего пациенту правду о страшном диагнозе, обреченно сказал:

— Вчера вы отпустили нас с лекции, перенесли зачет. И попросили меня помочь вам через Интернет купить билет на самолет. И улетели в Симферополь.

Ага, так вот чем объяснялось неудовольствие студенческой аудитории, которая вдруг лицезрела преподавателя на площадке перед учебным корпусом, отсюда была всеобщая хмурость — все расстроились, что сейчас же будет назначен им, например, зачет! Этим объяснялось и сутубое удивление Нелли Петровны при виде больничного и самого доцента! Но этим ничего, ничегошеньки не объяснялось!..

Потом Иван Сергеев держал Адольфа Абрамовича, который ощутил слабость в коленках. Потом Иван Сергеев держал Адольфа Абрамовича, который агрессивно рвался покинуть туалет. Наконец наступило затишье, Адольф Абрамович уселся на унитаз и, наморщив лоб, хмуро произнес:

— Меня подменили?

...Вдвоем они тайно вышли из института, выкрад одежду в гардеробе, когда Уля отлучилась.

Адольф Абрамович кинулся было к доктору Иванову — чтобы взять медкарту и доказать руководству вуза свою болезнь и свое отсутствие. Иван Сергеев сопровождал его. Однако доктор Иванов, сказали им в клинике, отбыл на историческую родину в засушливый Израиль. А документы, как мы уже сообщали, были уничтожены во имя человечности.

Больше бежать было некуда.

\* \* \*

В рюмочной, куда забрели они около полуночи, вконец истаскав ноги, горел тихий зеленый свет. Уселась за дальний столик и попросили чаю с бутербродами, а так-

же коньяку. Там Адольф Абрамович молчал часа два. В нем происходила медленная и тяжелая работа. Хаос ворочался в теле, в памяти происходило броуновское движение фактов жизни. Раньше факты имели строгий порядок, зависимость, причину и следствие. И он имел в виду причину и следствие, и мог находить ошибки, и мог все объяснить в случае необходимости. И жизнь даже в самых угрюмых ее проявлениях бывала, таким образом, объяснена и утверждена. Но теперь факты взбунтовались и не хотели выстраиваться в шеренгу и рассчитываться на первый-второй. Факты перечеркивали существование линейного времени. Адольф Абрамович оказался один на один с космическим временем, которое не имело ни границ, ни направлений, а одно только «сейчас». Оно зазывало Адольфа Абрамовича в свой балаган: заходи, мол, полюбуйся. Что скажешь?

И Адольф Абрамович, сморщив лицо, дрожа языком, сказал времени:

— Кто я ?

Иван Сергеев, думая, что шекспировед адресует вопрос ему (и устами Ивана в ту минуту говорило космическое время), собрав все силы души ответил:

— Не знаю.

В свой вопрос Адольф Абрамович включил чрезвычайно много: а есть ли я, Адольф Абрамович? А тождествен ли я сам себе? Какой я — настоящий? А есть ли в моем существовании какой-нибудь высокий смысл? А как проникла в мою комнату Эльвира Аполлоновна со своим супом? А было ли у меня что-то с Нелли Петровной? А оплатят ли мне больничный? В своем ли я уме и не мерещится ли мне все это?

— Не знаю, — со вздохом повторило космическое время и рассмеялось.

Иван хохотал долго-долго. Так долго, что у Адольфа Абрамовича от безнадежности выступили слезы. А офи-

циантки с демоническими красными губами собрались стайкою и кружили неподалеку сладкими стрекозами, желая узнать имя смеющегося. Девушки, если вы помните, любили Ивана Сергеева не за красу, а за умный смех. Но официантки не успели близко подойти к столу. Потому что Иван вдруг сделался страшно серьезным, встал из-за стола и надел пальто:

— Пойдемте пока домой. А потом надо будет встретиться с ним.

Еле двигая одеревеневшими ногами, Адольф Абрамович вылез на середину рюмочной. Он вспомнил, как в глубоком детстве, в те времена, когда стоматология еще была карательной, будучи на приеме у доктора, испытал подобное одеревенение. Тогда он вцепился в батарею центрального отопления — и прирос к ней. Он держался, будто диковинное насекомое за чугунную белую ветвь. Доктор и мама тщетно отцепляли его, сулили новую машинку, сулили мороженое. Да, тогда он поддался. А теперь бы не поддался ни за что. Но теперь и хвататься было не за что, не было подходящей батареи. Мама тогда... Мама? Мама!.. О, мама! Она, только она спасет его, прямо сейчас! Только мама знает, кто ее сын, настоящий Адольф Абрамович!

Шекспировед издал сложный звук. С таким звуком дикари, утверждая за собою победу, потрясают над головою копьями с насаженными на них вражеским головами. Официантки завизжали, Сергеев кинулся к разбушевавшемуся. Адольф Абрамович, вырываясь из лап студента, выхватил из кармана телефон, угрожающе потряс им над головою, ликуя перед посторонней публикой, и начал набирать спасительный номер. Половина рюмочной в это время лежала на полу, вообразив себе, что Адольф Абрамович достал бомбу. Бармен нажал на тревожную кнопку и предусмотрительно собирал в пакетик выручку.

Адольф Абрамович был вынесен Сергеевым из рюмочной и унесен в ближайшую подворотню за ржавый мусорный бак, унесен быстро, пока не приехал полицейский «бобик». Они сидели, прислонившись спинами к бакам, когда трубка заговорила наконец маминым голосом:

— Алло?

— Мама, здравствуй, как поживаешь? Я тут хотел тебя попросить, у меня возникли кое-какие проблемы, я, наверное, прилечу завтра...

— Кто это? Кто это? — и старческое покашливание.

— Мама, ты что, не слышишь? Это я, Адичка! — истошно завопил Эпикризоз.

— Что вам нужно? — мамин голос заострился.

— Мама, это я!

— Хулиганы какие! — возмутилась трубка маминым голосом.

И Адольф Абрамович услышал, как в трубке зашуршало, а потом трубка сказала уже мужским голосом:

— С кем я говорю и что вам нужно?

— А с кем говорю я?! — возмутился Эпикризоз. И тут же понял: мужественный голос этот принадлежал ему самому, Адольфу Абрамовичу, шекспироведу. Трубка подтвердила:

— С вами говорит Адольф Абрамович.

Шекспировед повернулся к Сергееву, который из последних сил удерживал буйного наставника в тени мусорного контейнера, схватив за полы романтического пальто. Где-то рядом выла полицейская сирена.

— Я в Симферополе, — сказал он.

\* \* \*

Иван Сергеев был толковый студент, интересующийся. У него насчет происходящего имелись свои глубокие соображения. Мы, конечно, досконально не знаем хода

его мыслей, не спрашивали, постеснялись. Да еще этот дикий, не к случаю, смех в рюмочной, на который, точно мухи на сладкое, слетелись официантки...

Известно, что в первый раз он глубоко задумался наутро после той самой роковой среды (или все же вторника?). Он совершенно отчетливо видел двух Адольфов Абрамовичей — один сидел перед ним с пластиковым стаканчиком в руке, другой, абсолютно такой же, стоял, покачиваясь, в дверном проеме.

Известно еще, что Сергеев решил тогда больше не пить, подозревая опасные симптомы. Он сообщил о своем решении товарищам Птичкину и Медведеву, те сплюнули презрительно, запустили бычки в форточку и вышли вон. И скоро все общежитие знало, что Сергеев ни во что не ставит студенческое братство. О том, что подвигло его предать своих соратников, Сергеев, чтобы сохранить реноме, никому не рассказывал.

В течение последующих месяцев близнецы-шекспироведы нет-нет да и приходили ему на ум, молодой и пытливый. Тем более что Адольф Абрамович, который на следующее утро пришел в институт как ни в чем не бывало, хотя и отвезли его на «скорой» в наркологию, с того самого вечера в корне изменил свою жизнь. Студенты заключали пари, на ком все-таки он женится — на Шаляпине, на Эльвире, на Томочке или на Валерии (какое счастье для Адольфа Абрамовича, что он не столкнулся в институте с Томочкой и Валерией и даже не подозревает, что сии почтенные девушки тоже имеют на него — и небезосновательно — самые серьезные виды). Все знали также, что шекспировед вдруг выиграл какой-то фантастический научный грант и готовится, предварительно навестив маму в Симферополе, отбыть на какое-то время в Лондон.

Свою спасательную деятельность Эпикризоз пере-квалифицировал в обличительную. И теперь вахтеры



сдавали ему отловленных студентов, присовокупляя к провинившейся персоне бумажечку с душераздирающим заголовком «Докладная». Докладные летели через шекспироведа в деканат, затем в ректорат. Был отчислен непочтительный и сильно пьющий Птичкин. Медведева выселили. В общежитии установилась относительная тишина и даже чистота. Однажды Адольф Абрамович поймал сопливого первокурсника, который, тоскуя по дому, едва не рыдая, хорохорился сам перед собою — курил перед форточкой в коридоре и сплевывал на пол. Говорят, первокурсник извел целый мешок тряпок, пока вымыл в общаге все места для курения. Курить в пределах общежития с тех пор запретили. В конце концов ректор объявил Адольфу Абрамовичу благодарность. А студенты... Впрочем, что думают в этом случае студенты — совершенно неважно.

Неясные подозрения клубились в мозгу чувствительного и сообразительного Сергеева. И когда он обнаружил на унитазах полностью одетого Адольфа Абрамовича, занятого мыслительным, а не каким-нибудь иным, более подобающим месту делом, того самого Адольфа Абрамовича, которому он купил билет на самолет, в голове у Сергеева прояснело. А в рюмочной он как будто бы понял, как нужно действовать

\* \* \*

...Стой самой ночи, когда Иван Сергеев прятал Адольфа Абрамовича за мусорным баком, прошло достаточно лет. Сергеев закончил институт и поселился неподалеку от общежития, в съемной квартире. В свободное от трех работ время он доучился-таки в аспирантуре и теперь намерен был занять свое место в научном сообществе.

Иван встретил нас в аэропорту и отвез к себе. По дороге он рассказал, что Адольф Абрамович много,

слишком много думал о происшедшем. Например, одно время его очень занимала мысль, почему в дверях стоял он — пьяный, а сидел он — трезвый. Или вот: все думал о том, как он осмелился завести роман сразу с четырьмя женщинами. А одно время ужасно хотел уехать, но подумал, как же он уедет без самого себя, и все мечтал встретиться с собою, поговорить, договориться, решить, в конце концов. По мнению самого Ивана это был единственный выход. Сейчас от переживаний Абрамыч немного ослабел умом. И вообще сильно изменился.

Мы смотрели в окошко и удивлялись величине человеческого одиночества, а также пушистости снега.

Иван рассказывал что-то о Томочке, о Нелли Петровне и других, но мы не очень запомнили. Говорил, что эта история с больничным листом Адольфа Абрамовича наделала тогда много шума, отчасти благодаря Уле, отчасти сердечным проявлениям Нелли Петровны. Но Ульяна скоро отчислилась из института, уволилась из гардероба и уехала в Тибет. Недавно прислала письмо, в котором передавала глубочайший поклон и почтение Адольфу Абрамовичу как человеку, достигшему великих духовных высот. Нелли Петровна поскандалила еще, но потом простила своего героя, скандал замяла. И скоро все позабыли эту историю. Иногда только в преподавательских кругах ее травили как пикантный анекдот. Но все реже и реже. Тем более что Нелли Петровна сделала наконец предложение возлюбленному и ждала теперь ответа.

Жена Ивана, женщина гостеприимная, накормила нас, потом завязала в пакетики разных пирожков, раскидала по баночкам салаты, котлетки, толченую картошку. Привычно сложила все в полосатую хозяйственную сумку, которую Иван подхватил на плечо. И мы побежали через две дороги к общежитию.

...Общежитие брело по заснеженному миру, как грустный мамонт. Мы спустились по глубокой подвальной лестнице. Иван толкнул обитую желтой клеенкою дверь — и мы оказались в комнате с окошком, светившимся под самым потолком. Хозяина не было. На стеллажах громоздились во множестве книги. В углу скучали грабли и огромная, с человеческий рост, метла. На столе, который, казалось, грызли зубами — такие вопиющие царапины бороздили его плоскость, — навалены были горкой газеты, журнальчики и книги. На книгах значилось: Адольф Абрамович, ведущий шекспировед страны. Газеты передавали какие-то интервью с ним, демонстрировали ракурсы его бодрого лица. В журнальчиках мы нашли научную статью о Шекспире, написанную в соавторстве с Нелли Петровной, и еще много чего.

— Следит, — грустно вздохнул Иван и стал освобождать сумку.

Уже последними кровавыми лучами трогало землю солнце, а хозяин комнаты все не шел. Иван вывел нас наружу, и мы стали по его примеру смотреть на широкий внутренний двор общежития, которое расположилось буквою П. Мы увидели, что высокий человек в длинном черном пальто размахивает там огромной лопатой, освобождая двор от снега. Он сыпал снег к деревьям, так что казалось, будто они росли из огромных белых кочек. Иногда он останавливался и долго смотрел вслед какому-нибудь пешеходу, минующему ножки буквы П. Смотрел, будто ожидая кого-то — но все не дожидаясь.

Иван хотел еще что сказать и уже набрал воздуха. Но тут человек увидел нас и помахал рукою в огромной варежке-верхонке. Иван помахал ответно. Человек прислонил лопату к дереву и пошел в глубину буквы П, к черному ходу общежития. Мы же вернулись в комнату и уселись к столу. Потом услышали, как заскрипел снег наверху и на ступенях. Иван стал разливать чай.

## Вечная любовь

Костик Коллагенов был человеком грубой и прямонаправленной специальности. Он трудился штатным рекламным агентом в одной большой конторе и слыл настырным работником.

Как человек сугубо практический, он был фанатом подсчетов, радетелем цифр, которые обозначали ему состояние финансов. У него были планы на будущее. Он хотел спокойствия, тепла и, как следствие, счастья. Он вырос в маленькой провинции у небогатых родителей, где на троих детей приходилось две пары обуви, и это его до сих пор злило.

Благосостояние семьи занимало его настолько, что и дома он не мог отвлечься. Он мечтал об успехе, главным признаком которого был хороший банковский счет. А уж остальное приложится автоматически.

Он иногда вспоминал, как мать, вытирая мучные руки о фартук, раскладывая пирожки по деревянной, с красными петухами в углах, доске, говорила ему:

— Ну и что, что ты не красавец у нас, не всем быть красавцами. Рост тоже значения не имеет. Главное, что у тебя в голове. И в кармане. А у кого в кармане дыра, так хоть раскрасавцем будь...

Костик мать любил.

Как глубоко практическому человеку, даже во снах приходили Костикку тревожащие образы практической

жизни: купить, починить, вложить, пристроить, договориться. Окно в спальне закрывалось плохо, сломалось, из щели между рамой и подоконником слышал он сквозь сон странные шорохи и, бывало, вой. Это мешало сосредоточиться на важном.

Откуда приходил этот вой, где он гнезвился, Костик не знал. Но вой в последнее время становился все громче и продолжительней. Костик не понимал даже, снится ему этот вой или бодрствующему залетает в уши. И вставал посреди ночи, пил воду, прислушивался. Когда выло сильно, встать боялся. Боялся и прижимался сильнее к жене, которая широким и прохладным рыбьим телом придавливала его, душила, но от этого зато становилось спокойнее. Просыпался он утром в холодном женином поту — она сильно потела по ночам, — бледный от недостатка воздуха, со сдавленными и ноющими ребрами. Но все же просыпался без страха и облегченно смотрел на себя в зеркало: вот он есть, вот он все тот же, вот он жив и здоров. Одевался, умывался и ехал служить в контору. Трясся в красной машинке по глубоким морщинам дорожного полотна.

На светофорах трясение прекращалось, и Костик каждый раз натыкался на черную гудящую пустоту где-то внутри себя — и снова будто бы слышал ночной вой, его отголоски будто бы, завихрения. Словно была у него незаштопанная дыра где-то в организме и через нее вырывался с противным и жутким звуком воздух — с неизвестной, глубинной стороны. И от этого все его существо вибрировало очень неприятно, болезненно. К счастью, красный свет скоро сменялся зеленым, и Костик трясся дальше, ожидая и боясь следующего светофора. А однажды тихонечко подумал, как бы тайком: о чем же конкретно бормочет внутри него черная пустота? Чего требует? И кто этот самый требователь? Эти случайные мысли с некоторого времени стали для него

язвой существования, потому что лишали окружающий мир плотности. Ночью его мучил вой, а днем высасывала черная пустота. Они медленно, но верно, как морской отлив, обнажали то, что находится под разноцветным упругим удобным желе на котором Костик Коллагенов, как бацилла в чашке Петри, жил и существовал. А что там, под желе, Константин не знал.

Вой из сломанного окна — чем ближе к осени, тем он случался чаще — заставлял его проводить ночи без достаточного количества кислорода. И видимо, результатом кислородного голодания было стократное усиление гудения внутри. Случаи участились. И в голове у Костика навязчиво, как сварившиеся пельмени в кастрюльке, всплывали вопросы, на которые ему никто не мог ответить. Ему оставалось только вопрошать небеса. И он вопрошал, как мог.

...Вот живет себе человек спокойненько, меняет деньги на рекламные площади, оформляет всякие бумаги; цифры, даты, имена-фамилии; съедает обед, обсуждает с коллегами перспективы на мировых рынках или последний кинофильм, договаривается провести выходные на чьей-нибудь даче, вечером договаривается с женой о предстоящих покупках, ведет семейную амбарную книгу, читает перед сном школьный дневник сына Саши, ругает Сашу — крепко, но без злобы. Шантрапа Саша, двенадцатилетний отщепенец, уходит в комнату и включает громко музыку. Константин наводит порядок, ставит сына в угол за непочтение, пеняет жене за плохое воспитание Саши. Потом все идут спать. Жена нежно и привычно похрюкивает во сне, Константин засыпает тоже. И вот тут его, будто холодной водой, окатывает этим жутким воем и потом кусает до утра бессонница. И куда ни побеги, везде преследуют вой и пустота. Почему?

Даже из телевизора в это время лезут только темные, гнилые сумерки. И страшно его включать. Вдруг все, что есть в телевизоре, невидимое и тоже гнилое, выскокит наружу, на него, на Костика, на Константина Константиновича Коллагенова. И непонятно, главное, про что, о чем всё это? «Чего тебе от меня надо?!» — кому-то кричал во сне Костик. Но кому?! Ах, если бы знать, кто задает нам порой настойчивые, грызущие вопросы! Ах, если б знать кому и чего от нас надо!..

...Жена Наталья открывает один крохотный глазик, потом второй. Мужа нету. Наталья вбрасывает свое тяжелое тело в прикроватное пространство, помещает ноги в тапки с заячьими ушами вместо помпонов. И бредет отыскивать мужа. Она знает, что Костика по ночам мучают кошмары, чудятся всякие звуки. Наталья давно уже подумывает отвести его к психологине. У нее есть одна знакомая.

Муж на кухне пьет воду и пялится в зеленую этническую пепельницу. Пепельница пуста. Наталья садится рядом, закуривает. Пепел разбегается по медным слоникам внутри пепельницы, точно слоны идут по серой пустыне. Костя смотрит и молчит. Утомившись, Костик позволяет жене увести себя в постель. Накрывшись тяжелой Натальей и под ее ласковое гудение Костик наконец засыпает.

Однажды утром Наталья сказала: «Костя, ты устал». И между супругами случился важный разговор. Уставший Костя легко соглашался:

- Я просто не спал, потому уставший.
- Костя, надо отдыхать, ты перенапрягся.
- Я перенапрягся.
- Давай купим дачку — нервы лечить. Ты отдохнешь, воздухом будешь дышать регулярно.
- Я куплю дачку.

Наталья налила кофе и намазала полбатона маслом. Закусив, она покормила и Костика, который уныло при-  
мостился на табуретке и рассматривал свое отражение  
в чайнике. В чайнике он был похож на щекастый блед-  
ный корнеплод. Костик качал головой — и корнеплод  
морщился, раздувался, съеживался, вытягивался; на  
минуту Костик представил, что он сахарная свекла и  
сидит в земле. Каково сидеть в земле, каково это — от  
земельных соков раздуться?

Наталья утрамбовала себя в костюм, который купи-  
ла в надежде на скорое похудание, и ушла служить по  
части налогов и сборов. Костик похныкал ей вслед, но  
взял себя в руки и по дороге на работу заехал еще на  
фабрику окон и заказал новое окошко в спальню. Он  
слабо надеялся, что вой прекратится.

Конечно, не тут-то было. Ха-ха.

Через пару дней новое окно блестело невероятной  
чистотой и сообщало Косте самые замечательные на-  
дежды. Все, теперь можно будет спокойно спать, все  
кончено, кончено!.. Однако следующая ночь выдалась  
такой жуткой, что Костик не спал вообще. Казалось,  
вой течет неостановимой рекой из всех углов и щелей.  
Телевизор источал столько черной отравы, что Костик  
завесил экран Натальиным халатом и спрятался в ван-  
ной. Там он открыл воду, звук которой немного заби-  
вал омерзительное черное гудение. Так он просидел до  
утра. А утром, не видя других путей к спасению, отпра-  
вился покупать дачку.

Дачку Наталья присмотрела давно. Это был креп-  
кий дом в два этажа и целых пятнадцать соток с невы-  
рубленными деревьями. Деревья особенно грели Ната-  
льино сердце, которая любила всякую декоративность.  
Она предполагала вырубить часть — ровненько, чтобы  
в маленькой рожице образовалась большая лужайка  
для бани и беседки. Она также планировала залить бе-



тоном площадку для стоянки, дорожки. Все остальное предполагала засеять наподобие английского газона, как в кино, ровно и безэмоционально. Наталья считала себя большой эстеткой. Костик в эстетике не понимал и видел в дачке в основном хорошее денежное вложение, а теперь еще — спасение своего психического здоровья.

В городе он встретился с представителем хозяев, лысым и равнодушным агентом, обсудил финансовую сторону вопроса, внес половину денег. И, забрав ключ, поехал с ревизией.

Гравийная дорога искривлялась так замысловато, что скоро Костик почувствовал себя заблудившимся. Когда съехал на проселочную, вовсе испугался. На его счастье, к одной сосне был прикручен указатель. Красная пузатая машинка муравьем ползла по дороге в означенную сторону, пока не уперлась в военно-зеленый, необычно высокий забор.

— Есть кто?

Забор глухо отвечал:

— А кого надо?

— Я тут дачку покупаю.

— Ага, — один зуб забора пошевелился и отодвинулся, обнажив половину маленького человеческого лица, заросшего какой-то кутерьмой. Заросль пошевелилась и оттуда, из темной пещерки, раздалось приветствие и приглашение войти. Костик отодвинул еще одну доску, так, что, сжавшись, можно было влезть в дыру. Он очутился посередине грядки. Как надземный овощ торчал, не зная, как поступить — точнее, куда наступить — дальше.

— Семен Семенович, глава дачной администрации, — сказал властелин растительности и подал Косте руку...

Вот, собственно, так все и произошло.

Но когда к человеку приходит вдруг любовь, не всякий готов принять ее в том виде, в котором она, собственно, к нему и приходит. Да и для окружающих вид настоящей любви почти всегда нелеп и не только не вызывает сочувствия, но даже и отталкивает...

Только вы не подумайте, что Костик влюбился в Семена Семеновича. Если вдруг вы человек прямолинейный и обычно следуете логике повествования, то вполне могли подумать, что раз автор затеял рассуждения о любви, и была перед этим поданная рука, и не было никакого иного персонажа, кроме Семена Семеновича, и что-то там эдакое приключилось, то все это указывает прямо на чувства, а также на их предмет. Мы самостийно нарушаем логику повествования, как любовь нарушает все наши планы и разрушает убеждения. Более того, мы сейчас, в этот возвышенный момент нашего повествования, презираем все эти планы и убеждения как ничтожные. Мы — пустая свободная душа, имеющая одно волшебное свойство: заполниться...

И Костик вдруг, буквально на секундочку, почувствовал себя пустой свободной душой. Все остальное, ненужное было наклеено на него, будто бумажные снежинки на стекло: наклеены на мыльную воду, тронь — и отвалятся. И вот он распахивает очищенные от ерунды створки окна, и в него, как в комнату, в его пустоту входит солнце, воздух, ароматы, голоса. Все это начинает дружно жить и процветать как в счастливом старом доме, в котором на протяжении сотен лет не прекращается жизнедеятельность какой-нибудь старинной семьи...

Ветер будоражил деревья. Семен Семенович стоял перед большим дачным домом с фанерной мансардой и указывал в разные стороны — вправо правой рукой, влево — левой. Экскурсия была многословной и затянутой.

Костик, чуть склонив голову, тупо смотрел то на темное окно, изнутри занавешенное цветастой шторкой, то на присыпанную красной галькой дорожку, ведущую мимо кустов к сортиру с флюгером-петушком. Смотрел и прислушивался к себе, пытаясь вычислить, как вой ведет себя на природе, вычислить его активность.

Никогда раньше Костику не случилось так ясно ощущать, что внутри у него есть какие-то неведомого объема пустоты. Причем содержательные: в нем как-будто что-то взрывалось, негромко, но разрушительно. А он прислушивался ко внутреннему себе, чтобы на слух определить тяжесть разрушений. И очень скоро пришел в состояние недоумения. Еще бы! Вдруг в его прямом, последовательном организме, где-то в непонятной плоскости обнаруживается непонятно что, совершенное художество, неустойчивое, ненадежное. Это знаете, все равно, как если бы человек начал считать себя экваториальной Африкой или Марсом, неизвестным, грандиозным, требующим открытия и освоения. Какие страшные мухи цеце могут подстергать его на этом опасном пути! Мы могли бы описать состояние Костика как ощущение внутренней пустоты большого положительного потенциала, как эффект положительно заряженной пустоты, способной породить. Мы могли бы припомнить Аристотеля с его катарсисом, ибо что есть это самое ощущение, как не катарсис? Но поскольку Костик так не думал — он вообще не был приучен теоретизировать на отвлеченные темы, — то и мы оставим наше бесплодное занятие. К тому же и Костик уже пришел в себя: медленно двигаясь вслед за Семеном Семеновичем к дому, он отклонился от курса и наступил на черенок лопаты, бесхозяйственно брошенной на свежем воздухе. Боль привела его в чувство. Костик отряхнулся, провел рукой по волосам, облегченно вздохнул — и приступил к привычной жизнедеятельности.

Облюбованный Натальей дом торчал посреди большого участка, как гигантский скворечник. Отслушав своего многословного гида, который, устав, присел покурить на лавочку, Костик обошел дом три раза, поинтересовался суммой регулярных дачных взносов, поднялся на крыльцо и отомкнул дом. В сенях его встретили сухие до звона березовые веники, немедленно упавшие на голову, зеленые древние лавки и весь в заусеницах стол. В комнатах доживала век мебель, вывезенная прежними владельцами, видимо, из родительских советских квартир. Ближе ко входу топорщилась неровными боками коряво сложенная русская печь.

В целом дом был хорош, просторен. На второй этаж Костик не пошел, так как наметанным глазом еще на улице определил: этаж придется снести как ненадежный и возвести новый. Он быстренько прикинул, на сколько сможет, поторговавшись, сбросить цену — продавец ведь не уточнил, что этаж фанерный, несерьезный.

Также обошел теплицы и плодово-ягодные насаждения, одобрительно хмыкнул. Нет, полезные кусты он корчевать не даст, для Натальиной английской травы и так места хватит. Миновав огородную часть, оказался на задах дома, где в девственности и чистоте росли лесные деревья. Прежние хозяева соорудили на маленькой опушке крошечный прудик, живописно наложили возле него камней. Теперь прудик зарос, но живописности не утерять, и Костик не удержался, присел на камушек. В позе Аленушки и застал его Семен Семенович.

— Сидите любуетесь?

— Как вы думаете, сколько навоза требуется на этот участок? И вот прудик бы подновить...

— Ну... — пока Семен Семенович увлеченно чесал затылок, вычисляя нужды, Костик заметил на одной из дальних берез предмет — розовую ленточку. Ленточка резала глаз. Надо снять. Костик пошел к березе.

Долго теребил атласную ткань, но узел был слишком тугой.

— Есть ножик? — крикнул он Семену Семеновичу.

Глава дачной администрации, сам заядлый дачник, покачал головой, развел руками и поскорее попрощался, видя неумное желание своего младшего товарища хозяйствовать. Кашлянул:

— Ну вы тут начинайте себе...

Он ушел, а Костик решил задержаться — и впрямь надо бы похозяйствовать, а то все как-то запущено. Он решил не возвращаться в город, позвонил Наталье, чтобы она и Сашка ехали сегодня к нему, прихватив еду и постельные принадлежности. Завтра все равно воскресенье, делать нечего. А потом нашел под лестницей ржавые ножницы и отправился срезать ленту.

Потом он поправил бок теплицы, сложил в одно место садовый инвентарь, раскиданный по всему участку, забил пару гвоздей в крыльцо. И решил затем провести полную инвентаризацию и опись имущества.

Когда он закончил, сгустились сумерки. Наталья позвонила и сообщила, что будет завтра утром и чтобы ее пупсик или сию минуту отправлялся домой в город, или ложился уже спать.

И тут Костик запаниковал. Он так привык чувствовать себя под защитой Натальи, ее твердого бесстрашного тела, что теперь, один на один с ночной темнотой, ему было страшно, как ребенку, впервые сосланному в летний лагерь. В нем поднималась обида за свое внезапное, без предупреждения, одиночество. У него был небольшой выбор. Ехать в темноте по проселочным дорогам без единого фонаря? Ну уж нет. Остаться одному в незнакомом доме?! О-о-о!

Решение пришло, как только он вспомнил про окно. Чертово новое окно городской квартиры свистело, не давало спать. Наверное, дело не в окне, где-нибудь в па-

нели под окном или возле окна, может, дырка — вот в нее-то, как в свистульку или как в бутылку, свистит ветер. Ну конечно же, ветер, что же еще может так свистеть, так шуметь, так выматывать? Буду спать здесь, здесь наверняка не свистит, решил Костик.

Он прошелся по дому, включил свет в обеих комнатах нижнего этажа, а также и на веранде. Нашел в шкафу одеяло и сыроватую подушку без наволочки, всю в разноцветных перьях. Обмотал подушку пледом, который всегда возил в багажнике, и лег. Надо бы собаку завести. Или хотя бы кошку. А то грустно.

Немного полежав, он заметил, что готов уснуть. И удивился. Он думал, что будет лежать в сырой постели, боясь. В детстве в пионерлагере или в гостях он не мог уснуть, потому что казалось ему, что над головой летает нечто страшное и ждет, чтобы он, Костик, уснул. А потом... Впрочем, Костик старался не воображать, что же оно с ним сделает потом...

Вот и этот вой... Если бы на нашем месте был ехидный автор, презирующий своего героя, он бы заметил: вот и жену Костик выбрал такую большую и сильную, чтобы страшно не было. Мы же ради торжества справедливости скажем: жену Костик выбрал исходя из других соображений, а точнее, из соображений семейного счастья и рачительного домохозяйствования. Наталья была серьезной девушкой, получившей экономическое образование. Она умела хорошо готовить, ее родня жила в столице. Она лихо справлялась с должниками, служа в отделе по налогам и сборам. Ну и все такое. К тому же на момент их знакомства она была не такой уж большой, это все отщепенец Сашка, родившийся на второй год брака. Наталья испытывала к Костику ярко выраженные материнские чувства, бескорыстную любовь и, казалось, в моменты гнева была готова отшлепать мужа наравне с сыном. Если ехидный автор и был прав, то в

незначительной степени: возможно, подсознательно Костя выбрал себе заботливую и смелую Наталью, чтобы та заботилась о нем и защищала от напастей.

Но сейчас и без Натальи было ему не страшно. Удивительное дело.

Сейчас иллюминация сообщала ему радостное чувство праздничности, будто бы он при каком-нибудь дворе король. Костик думал об этом с приятным чувством. Думал, думал. А потом мысли его поплыли, и глаза сладко сомкнулись... И вот лежит он себе на раззолоченной софе в покоех, а придворные где-то веселятся, пуляют фейерверки, зажигают лампочки где ни попадя, зря электричество переводят, а кто платит? Ваше величество платит... дармоеды... так и государство разорить недолго... ну, государство неплохо живет пока, дачку прикупило... Костик довольно улыбнулся во сне, величаво подтянул одеяло к подбородку, сам вытянулся подлиннее, так что достал пятками кривой и белый печной бок. Софа — это не лучшее место для здорового сна... особенно для того, у кого с утра — государственные дела... Костик почувствовал себя совсем хорошо, натянул одеяло на лицо, оголив костистые, скудно волосатые ноги. Из-под одеяла донесся грубый звук, потом еще и еще. Король захрапел, сладко уснув, иногда только вздрагивали его ноги, как у обычных людей, которые не успели еще погрузиться в пучины сновидений.

Он видел, как издалека через анфилады комнат бредет к нему по дворцовому фигурному паркету кто-то. В руках развевается розовая лента, точно такая, какую срезал он с березы. И вдруг раздается резкий крик.

Костик проснулся и сел на софе, спустив замерзшие ноги на пол. И вот среди тишины, среди звуков природы и деревянного дома раздался стон, затем снова крик

и звук упавшего большого предмета. Этот звуковой кавардак слышали сороки на берегах и беглые одичавшие дачные кошки. Шумело. А на улице, кажется, начался ветер. Это белки, конечно. Бородатый начальник садоводства говорил что-то о белках...

На улице шумит или в доме? Костик испугался, кинулся к окну. На освещенном крыльце гостила приятная, ароматная ночь. Ничего, никаких треволнений вокруг. Покачивается одичавший укроп, ягодки смородины, растущей близко у крыльца, стучают друг о друга...

Костик был бледен как бумага. Сердце готово было выпрыгнуть вон из него. Среди стуков и крика он снова слышал этот вой! Он открылся в холодной пустоте его души. Это не окно, понял Костя. Это было не окно. Это в нем самом была тоскливая черная дыра, которая хотела вывернуть его наружу, хотела его съесть, хотела заменить его, Костика, собою. Но не это привело его в ужас. Он подумал вдруг, что есть другие люди, которых мучают такие же кошмары. И некоторые из людей, наверное, уже перестали сопротивляться этому неизвестно чему, и, может быть, черные дыры уже поглотили их, теперь они не люди, а только похожи на людей. И они ходят вокруг него и ждут, когда же и он станет жертвой силы. Надо сказать, что Костик много смотрел всякой фантастической дряни, и какой уж там винегрет зародился в его прагматической голове — кто знает.

Не в силах выносить более этот страх, Костя отчаянно рванулся к двери, презрев все свои страхи, распахнул ее и вывалился на крыльцо, широкое, залитое густым, как старое масло, светом. Возле лампы гудели ночные мотыльки и длинные мухи. Свет был помещен в черный мешок темноты, осязаемой, шероховатой.

Костик присел на ступеньку, удивленный одной своей догадкой: так и в людях бывает помещен особенный



свет, окруженный материей, спасенный материей от рассеяния. И этот мешок со светом — есть он, Константин Коллагенов.

Или же он — это та свистящая пустота? Или он — дырявый мешок? Но кто и когда продырявил его? Если давно, то не успел ли вытечь из него весь свет? Мошкара билась о лампочку, и Костик встал отогнать мотыльков, которые могли ожечь крылья и погибнуть.

До утра он дрожал на крыльце — со второй половины ночи стало сыро. Тогда он вытащил из дома плед, закутался, но замерз все равно. Уснул уже под утро, измученный думами, в которых ничего нельзя было просчитать и арифметически прикинуть. В таком сомнительном виде его застала Наталья.

Она тяжело высадилась из машины, выгрузила пакеты. Отщепенец Сашка сразу побежал к кустам, на которых изумрудно сиял крыжовник и кровинками кое-где — спелая смородина- кислица. Наталья подошла к мужу и смотрела на него долго. Что-то в Костике смущало ее. Она внесла свое грузное тело на крыльцо и еще долго стояла, потирая тяжелые руки о тяжелые бедра, обтянутые спортивными велюровыми штанами. Штаны плотоядно обволакивали ее. И Семен Семенович, подошедший полюбопытствовать о новых незнакомцах, был прямо-таки ошарашен такой выпирающей жизненной аппетитной силой. А потом сильно засмутился и спрятался за деревом, чтобы наблюдать, не привлекая внимания Натальи.

Сашка выполз из кустов и рванул к крыльцу, уткнулся в отца и засмеялся. Костик вскрикнул и проснулся. Сверху на него распространялась большая тень жены, а внизу валялся на травке в щенячьем восторге Сашка, уже весь зеленый от травяного сока. Костик смотрел на него молча, чужими, но добрыми глазами. И Наталья, которая ожидала от мужа реакции на Сашкину дичь,

смотрела тоже молча, все больше поражаясь сама не понимая чему.

Наконец Костик сфокусировался, сообразил, что приехали свои, и вид его стал более определенный. Это далось ему с большим трудом, потому что был он разбит бессонной и влажной ночью.

— Саша, встань с земли, иди переодеваться.

Сашка еще подергался на траве для приличия, чтобы сохранить реноме отщепенца — он ведь вошел в трудный подростковый возраст, — и удалился, скача козлом. В доме стало шумно — Сашка бегал сверху вниз, выдвигал ящички, хлопал дверцами, искал, шарил, любопытствовал. Наконец он забарабанил в стекло на втором фанерном этаже и сообщил сверху, что будет жить здесь.

Вечером Коллагеновы покинули райский уголок — до следующих выходных.

\* \* \*

На неделе Наталья повела мужа к психологу. Психолог, дурашливая молодуха в стервозных очках, шурилась на Костика глубоким коричневым глазом. Прямо экзорцист, подумал Костик и вздохнул. Он прикинул, сколько молодуха сдерет с него за сеанс. Молодуха, как оказалось, просила немало, но Наталья сильно сжала Костикову руку, и он понял, что возможности для спора или побега не будет.

— Ровно дышите, не волнуйтесь, ровно, ровнее... ровнее... — очкастая задавала трудные вопросы, на которые невозможно было ответить так сразу. Например, чем он болел в детстве или какие у него были детские страхи. Это надо было вспоминать, потому что детство как-то совсем позабылось. Оно и так было бесцветным. Самым ярким в нем был резиновый круг, который Кос-

тик отобрал у соседского Витька. Витёк дал ему в нос, и у Костика потекла кровь — прямо на круг. И капала с круга, одинаковая с ним по цвету. Было похоже, что круг плавился. Но Костику не хотелось рассказывать про круг. Зато очень хотелось рассказать психологине про вой. Но, глядя на ее очки, решил повременить.

— Расскажите, что вас тревожит.

В теперешней жизни его тревожило только одно — вой.

— Но я даже не знаю... Вот дачку приобрели, затрат много стало. Нужно стекла заменить, пол покрасить... Денежные вопросы меня волнуют, — сказал Костик и с удивлением поймал себя на мысли, что траты не заботят и не расстраивают его, как раньше. Впрочем, это легко было объяснить — когда вокруг тебя происходит непонятный вой, тут уж не до калькуляций.

— Расскажите, какой вы видите свою жизнь сейчас.

Теперешнюю жизнь он представлял одной черной крутящейся дырой, которая производила страшный звук — выла, выла.

— У меня, в общем-то, всё в порядке. Я хорошо зарабатываю. Да, положение у нас хорошее. И дела, в общем, идут. Но...

— Отлично. Вы позитивно смотрите на жизнь. Это большой плюс, это поможет нам продвинуться уже к третьему сеансу, — молодуха заверительно смотрела на Наталью. Костика будто не замечала. Костик опустил глаза и смотрел на грубые молодухины коленки.

— Но... — Костик, вдохновившись вдруг то ли этими коленками, то ли Натальиным облегчительным вздохом, воспрял духом на мгновение.

— Не отвлекайтесь. Ну а как вы представляете себе вашу будущность? — психологиня перебила его вдохновенное «но». И Костик подумал, что, наверное, ему не следует лезть со своими переживаниями, когда серьез-

ные умные женщины пытаются решить его проблему. Он решил подчиниться. И сидел смирно.

\* \* \*

Он смирно отсидел десять сеансов. Наталья была довольна.

— Ты чувствуешь, что жизнь налаживается. Румянец у тебя появился. Глаз стал веселее. Точно-точно...

Костик улыбался жене. Ему действительно стало лучше. Хотя вой никуда не исчез. Выло все так же. Где бы он ни находился — теперь выло всегда. Он просто меньше обращал внимания. Хотя теперь у него появилось застенчивое чувство, что он сходит с ума.

Костик решил действовать сам.

...Бабку порекомендовала ему коллега, женщина бальзаковского возраста с характерными признаками одиночества. Она имела разнообразные амулеты, которые доставала у этой весьма популярной бабки.

— Ира, а сколько она берет? — спросил Костик и тут же подумал, что это в общем-то неважно. Подумав так, испугался: все признаки сумасшествия налицо.

— Ой, нормально. Она так воду заговаривает! На улицу посмотришь, там всегда стоят. Сама милиция к ней табуном ходит.

Коллега взялась доставить его к бабке без очереди, минуя табун милиционеров, которые, как представлялось Костику, толкуются в коридоре, подглядывают в замочную скважину и все, как один, мечтают вылечиться от запоя. Милиционеры, говорят, нынче сильно пьют.

За безочередность он должен был уступить Ире одного хорошего клиента. На такое условие Костик раньше никогда бы не согласился. Он и теперь два дня думал. Но теперь все в нем рушилось и скоро, может статься,

ему не понадобятся деньги. В дурдоме-то все бесплатно. Особенно электрошок.

Бабка жила в большой профессорской квартире Академгородка. Светлый кафель в лилиях и модная люстра встречали клиента в огромной прихожей. Клиент снимал обувь и одежду, какая-то киргизка вешала их в шкаф и вела посетителя узким коридором в покои бабки. Стены коридора заполняли темные картины и медали в рамочках. Киргизка шла быстро, и Костик не успел ни рассмотреть картин, ни прочесть надписи на медалях.

Бабка сидела в огромном кожаном кресле на одной ноге и была еще, по-честному, вовсе не бабка. Крашеная, но весьма симпатичная блондинка лет сорока, которую портила только улыбка — узкие губы неприятно растягивались в две ниточки. Глаза блондинка подводила густо по верхнему веку — так носили в шестидесятые, — и оттого ее взгляд был слишком темным, слишком ярким, и трусливому Костику хотелось сбежать или спрятаться за кресло. Но он не сбежал.

Киргизка принесла поднос с чайными приборами. На подносе были какие-то печенюшки, и Костик схватил одну. Он любил сладкое, оно успокаивало. В детском саду на полдник всегда давали конфеты или пирожное, и Костик ждал полдника, потому что следом всегда приходила мама или бабушка, спасавшие его из разбойничьего логова, из чрева огромной рыбы, которая плавала в стае других по морям родины и называлась «детское учреждение». Вот и сейчас печенюшка будто могла спасти его от бабки. На секундочку Косте показалось, что это не бабка, а воспиталка из детского садика, которую звали Агния Борисовна. Агния Борисовна считала, что детям вредны конфеты, и почти всегда недодавала по одной. Она съедала их сама.

Знахарка протянула руку, указывая Костику на стул.

— Давайте знакомиться. Меня зовут Агния.

Костик весь превратился в холодный пот. Ему казалось, что вместо него на паркетном полу в квартире бабки существует теперь лужа с сизым налетом страха.

— Агния Борисовна, очень рада, — блондинка растянула губы. В голове Костика пролетели все недоданные конфеты, и он вспомнил острые пальцы воспиталки и беленые стены детсадовской группы, которые он часто обтирал, поставленный в угол. Но он собрался.

— Константин... э-э-э... можно просто Костя.

— Итак, с чем вы пришли? — блондинка выехала на кресле из-за стола. Костик увидел три ноги — две точно ее, в стального цвета чулках — блестящих точно так же, как ножка стула. Трехногая женщина вопросительно смотрела на него.

— Воет, — сказал Костя.

\* \* \*

— Наташа, ты меня любишь?

— Тыпил, что ли, вчера? Что делал-то? Пил, что ли?

— А как ты думаешь, я тебя люблю? Ну так, чтобы — ух! Так, чтобы совсем по-настоящему.

Наталья побледнела. «Бросает!» — огненная мысль промелькнула в ее голове. Но тут же угасла. Решительная Наталья вылила на нее ведро разумных мыслей и затушила. Сейчас, ага! После того, как они купили квартиру, дачу, после того, как она настроила кучу планов! Ну уж нет! Вот уж сейчас!..

И она сказала спокойно:

— А я тебе изменила.

Она рассчитала все правильно. Костик заткнулся. И ценность Натальи в его глазах в одну секунду выросла неимоверно. Ложась спать, он молчал, надутый, сердитый. Но ценность жены возрастала и возрастала

с каждой секундой. Он забыл об Агнии Борисовне. И — удивительный факт, требующий объяснения, — забыл даже о вое. В эту ночь он спал так, словно провалился в бездну.

Назавтра Костик устроил жене скандал.

\* \* \*

Дорога на дачу заросла с правого бока кустарником глубокого винного цвета. С другой стороны торчал багульник, а также сияло жизнерадостное разнотравье, развлекаемое ветром.

Лес напоминал карнавал. Лучи проникали сквозь верхний ярус, затейливо ложились на резные листья вороньего глаза, на маленькие рябинки, на осиновые металлического оттенка стволы. Костик притормозил и любовался. Он взял отпуск от расстройств и теперь имел полное право любоваться.

Доехав до своего участка, он первым делом навестил Семена Семеновича.

— Скажите, пожалуйста, Семен, существует ли отравка для белок?

Семен Семенович почесал красную шею. Жена у соседа хорошая, славная жена, а сам-то подозрительный типчик.

— У нас белок травить не принято. Национальный парк! — огородник поднял палец с черной окантовкой вокруг ногтя.

Костик вздохнул, предвкушая беспокойную ночь.

Под утро белки — ну конечно, это были белки! — наверху начались буяннить и уронили неустойчивый книжный шкаф. Костик, привыкший по ночам дрожать от страха, взял молоток, с которым днем починял крыльцо, фонарик — на всякий случай, врубил на втором этаже электричество и полез наверх. Никаких белок уже

не было. Книжный шкаф лежал пустым брюхом вверх. Нижняя тумбочка его раскрылась, и оттуда вытекла маленькая струйка фотографий, несколько черно-белых и цветных. Фотографий этих он не смог припомнить — а ведь делал опись имущества прежних хозяев. Значит, невнимательно смотрел. Значит, надо еще раз провести ревизию, может, еще чего-нибудь упустил. Костик взял фотографии и спустился вниз. Он вышел на улицу и уселся на крыльце. Днем, еще в городе, Костик купил пачку дамских, легких сигарет, решив закурить наконец, как настоящий мужчина. Курить он попробовал в школе, но так и не начал. Но теперь, после признания Натальи, обстоятельства потребовали. Костик еще прикидывал, сможет ли он посещать «качалку» раза три в неделю. Протеиновое питание он решил закупить оптом. И еще стал вспоминать, кого можно пригласить в спортбар на матч, каких-нибудь приятелей — настоящих мужиков. Мысли роились в его голове сумасшедшими мухами. Уж он ей покажет, этой Наталье, чего он стоит!

Когда Костик, кашляя и сплевывая, выкурил третью, край леса стал различим. Гора приобретала вид черного пузыря, который плавает в розовой материнской воде. Костик отметил, что рассвет наступает быстро. Отчего так быстро? Вот эти мягкие мгновения, когда алый переходит в розовый, а розовый разделяется на желтый и голубой, как на желток и очень белый, снежный, хирургический белок, а потом из них наступает день — из белого небо, а из желтого солнце, — Костику хотелось задержать. Он, абсолютно городской, раньше не встречал рассветов, как-то не приходилось. Он заметил также, что выпала роса и смородина, которая протянула свои руки до крыльца, покрылась будто испариной. Костик ощутил, что он сам весь покрывается коконом, нежной микроскопической водою. Собрал найденные



фотографии, распавшиеся по крыльцу веером и уже начавшие сыреть, и открыл дверь в дом.

Справа у длинной березы, у той самой, на которой он срезал ленту, что-то мелькнуло. Темное или светлое. Что-то. Костик влетел в дом и закрылся. Фотографии снова рассыпались. А он через дырочку в плотном тюле стал наблюдать. Там определенно что-то было.

Скоро глаза привыкли к сумраку наступающего утра, и он, кажется, увидел человеческий силуэт. Дальше силуэт развернулся, присел, еще развернулся. Как будто оно, то, что было там, у берез, танцевало, танцевало.

—Эй! — крикнул Костик, но стекло не пускало звук. И это «эй!» громко разлетелось по всему дому, потому что ему больше некуда было деваться.

Потом целый день Костику казалось, что его «эй!» летает в доме, залезает во все углы, проникает ему в уши и в нос. Оно залезло и в тарелку с китайской лапшой, когда он ел. «Эй» висело в его пустой ложечке, когда он, размешав сахар в кружке, поднял ее. Как студень, оно покачивалось в ложечке: эй-эй, раз-два, туда-сюда.

Костик дважды подходил к березам, но ничего там не было. Тогда он, вздохнув, решил заняться земледелием.

Перекопав половину огорода, Костик отвлекся рассмотреть найденные фотографии. Он устроился в гамаке, который прикрутил между двух берез, напротив того места, где видел что-то. Хорошо было бы привязать гамак как раз к той рослой березе, с которой он снял ленточку, и к ее подружке, не такой рослой, но очень толстой, корявой. Однако Косте было страшно. И он предпочитал видеть то место, а не сидеть в том районе, да еще и спиной к лесу. Ведь откуда это взялось? Конечно же, из лесу...

На старых фотографиях были разные незнакомые люди. И еще — одна женщина. Он сразу обратил на нее внимание. У женщины были круглые глаза, и

на затылке ютилась маленькая беретка. Почти на всех фотографиях у нее было одно и то же выражение лица: удивленное, рот приоткрыт. И только на двух — вполне нормальное, она даже улыбалась.

Женщина была не очень красива, так себе, по Костиным меркам. И все-таки он брал фотографии и смотрел на них снова и снова. На нее смотрел. Под конец дня у него рябило в глазах. Что-то немножко знакомое было в этом лице. Как будто они встречались где-нибудь в прошлой жизни.

Позвонила Наталья.

— Ну прости.

Костик молчал.

— Приеду послезавтра.

Костик молчал. Наталья закончила сеанс связи. Костик представил, как ее сочно-розовая рука опускает телефон в карман. Потом Наталья поправляет трогательным жестом бретельку бюстгалтера, который все время врезается в ее приятную полноту. И отправляется на кухню, например варить зеленые щи. Наталья никогда не варила зеленых щей. Да Костик толком и не представлял, что такое эти самые зеленые щи. Но сегодня ему представились именно эти щи, именно в их семейной кастрюле, объемом литров восемь, не меньше. И Наталья в пеньюаре лилового цвета, с кружевом по низу, и на руке золотой браслетик из маленьких сердечек, который он подарил ей два года назад. А в последнее время он, кажется, ничего ей не дарил.

\* \* \*

Вечером Костик вышел на охоту за «березовым призраком» — так он обозначил для себя аномалию.

Он просидел до двенадцати часов, но ничего не увидел возле берез, кроме двух пьяных, проехавших мимо

его участка на мопеде-дырчике. О, эти дырчики! Он вдруг вспомнил, как все пацаны в его дворе грезили о них. И катались по очереди, когда вдруг кому-то очень везло. Однажды Костику подарили вдруг дырчик — далеко не новый и скромного цвета, но громкий, он производил звук «дыр-дыр-дыр» такой громкости, что мама сердилась. А после того как Костик сломал палец на правой ноге, упав с мопеда, уговорила отца продать его — точнее, обменять на собаку. Собаку Костик так и не полюбил. Потому что он уже любил дырчик.

Странно, что уже лет пятнадцать у него не было этих воспоминаний. Сколько же стоили тогда такие мопеды? Очень дорого, кажется. Даже подержанные.

Уже почти стемнело, когда черная тень появилась на улице и влетела в его калитку. Это был Семен Семенович. Он приземлился на крыльцо и смотрел куда-то мимо Костика. Начальник садоводства был пьян. Но в руках его блестела лампочка.

— Константин, помогите мне. Это последняя, которую мне надо вкрутить, но, увы, силы покинули меня, — Семен Семенович всхлипнул. Костик заметил, что кучерявая, хаотическая роща на лице председателя садоводства мокра, точно шел дождь.

— Это я загрустил. — объяснил Семен Семенович, увидев немой вопрос в Костиных глазах.

Они пошли к невысокому столбу по ту сторону калитки, на дороге. Столб был частью редкой цепочки столбов с лампочками — осветительных приборов общего назначения. Костик влез по самодельной, серой от времени приставной лесенке, которую приволок за собой Семен Семенович, и заменил лампочку. А потом, сам не зная для чего, пригласил Семена Семеновича в гости.

Костик достал сыр, хлеб, печенье — две пачки. Одно, которое подороже, все же убрал, то, что подешевле,

высыпал на пластмассовую зеленую тарелку. Заварил свежего чаю. Вынул также коньяк, который купил в магазине вместе с сигаретами, желая попробовать себя в роли настоящего мужчины. Как раз подходящий момент. В одиночку Костик боялся пить. Вдруг что-нибудь случится с сердцем или еще с чем. Хотя здоровье у него нормальное вполне, кроме воя, но мало ли что.

Семен Семенович отпил коньяку и похвалил.

— А я, знаете, мало пью. Так вот, если только гости, — оправдался Костик и проглотил полную рюмку.

Мужчины повели какой-то разговор, громкость которого повышалась с каждой принятой рюмкой. Костя выпрашивал про садоводство, про платежи, про электрификацию, про скважины и колодцы. Семен Семенович жаловался на хищнические рубки вокруг, описывал красоты местного леса, звал за лисичками, когда будет сезон, а завтра — за маслятами, преподавал Костику азы выращивания моркови.

— А я тут всякую чертовщину вижу — вроде тень у леса. Призрак, может быть, какой? — Костик решил воспользоваться моментом. Хоть он и был немного пьян, но в голову ему пришла здравая мысль о том, что в пьяном состоянии подобный нелепый вопрос будет ему прощен, а то и забудется назавтра — Семен Семенович изрядно набрался.

— Ну, тут у нас всякие байки ходят. Лет двадцать назад здесь была еще деревенька. Крупная. Сейчас — всё дачи, переквалифицировалась, так сказать, деревня. Я ее уже не застал, сам-то купил участок лет десять назад у одной старушки. Так вот, в тот дом, который теперь ваш, рассказывают, приехала одна семья. Отец был у них суров. Примерно как я, — хихикнул Семен Семенович, расправляя заросли на фасаде лица. Он еще сидел на табурете, но уже не очень прямо, уже слегка заваливало его, но Костик решил не выпрова-

живать соседа, чтобы дослушать рассказ. У Костика уже зашевелились ушки на макушке, ему уже стало щекотно в животе и страшно. Он всегда ненавидел это состояние, которое говорило только о том, что пора бежать, спастись. Но сейчас он как будто стал частью события, о котором Семен Семенович собирался ему поведать.

— Дом-то ваш сейчас обшит доской, а так-то он — обычная деревенская изба. Папаша, как я сказал, был сильно суров. И своих гонял. Дочка у него была и два сына. Жена, говорят, померла. Извел, наверное, бабу. Сыновья выросли, плюнули на все, на папашку родного, тирана, да и уехали. А дочка-то при нем осталась. Говорят, хороша была девка. Яблочко, а не человек. И вот посватался один к ней. Из местных. Ничего мужик, но старый, как смерть. А девке-то от силы двадцать. Ну и папашка-то решил выдать ее замуж за хрыча. А она воспротивилась. Сбегала два раза в город к братьям, да отец ее возвращал. Видать, братья-то не сильно о ней пеклись. А потом папашка возьми да и скажи ей: мол, ты если, дура, от счастья своего убежать хочешь, то беги уж тогда сейчас, в лес беги, непослушная дочь. А она взяла и ушла в чем была. Дверь открыла и пошла. Ушла она в лес, и больше ее никто не видел. Пропала, говорят. Папашку-то пришибло воротами скоро — ворота упали на него, когда буря сильная была, лес повалило кое-где. Вот они как раз к твоему участку примыкали, где две березы стоят, прямая да кривая... Это мне дед один рассказывал, из местных, помер уж давно. Сам говорит, знал эту девчушку. Интересно рассказывал, шкодный, видать, был... А девчушку, говорят, видят время от времени. Бродит, успокоиться не может. А то говорят еще, из березы она выходит, где папашку зашибло. Дед-то этот видел. Она ему грибные места показывала, благоволила, видать.

— А ее папаша что, тоже бродит? — Воображение Костика, взнузданное алкоголем, рисовало страшные, но от этого не менее интересные картины. Ему даже и страшно не было, пока он с Семеном Семеновичем сидел вот так распрекрасно в маленькой дачной гостиной.

— Не. Папаша помер — и всё на этом.

— А вы не знаете случайно, это не она? — Костик подвинул бороде фотографию, где не очень красивая, но слегка знакомая и влекущая молодая женщина стояла в дурацком беретике и улыбалась.

Семен Семенович долго смотрел на фото. Потом он глянул на Костика. Потом — на фото, потом — на Костика... Дело затягивалось. Наверное, не знает. Костик налил по последней и поставил бутылку под стол. Семен Семенович еще помедлил, изучая фотографию, вздымая кустистые брови. Потом стеклянными глазами уставился на Костика и тоже долго смотрел, шуруя бровями в разные стороны. Молча выпил последнюю рюмку. И тут Костик не выдержал и встал с табуретки.

— Провожу вас до дому.

Гость не сопротивлялся. Твердо дошел до двери. Безошибочно нашел ручку. Вышел на порог. Костик брел за ним. Спустившись с крыльца, он почувствовал, как холод пробирается ему под рубашку, почувствовал, что всё сыро. На небе людоедски моргала луна — на нее наплывали одно за другим облака, идущие чередой, как караван верблюдов. Моргание луны вернуло Костика в его обычное состояние. Он покосился в тот угол, где стояли злополучные березы.

И хотя там была только возмутительная темнота и только белые березовые тела просвечивали сквозь нее, внутри Костика завывало.

Когда мужчины дошли наконец до калитки, Семен Семенович сказал:

— Дальше дойду. Думаешь, не дойду? Дойду еще как! Пять. Четыре. Три. Два. Один. Пошел! Попробуй останови!

Точно космонавт, он запустил себя в открытый космос непроглядно черной дачной ночи.

Костик и не думал никого останавливать. Он уже услышал снова этот вой, который на пару дней будто бы оставил его. Но теперь слух его, обостренный алкоголем, вдруг опять его ухватил. Костик побежал в дом. А потом наступил тупой короткий сон.

...Когда Костик открыл глаза, он увидел, что находится внутри. Внутри было не темно, но и не светло. Он поводил глазами — вокруг были стенки. «Гроб!» — закричала страшная мысль помимо него. Паника созрела красной сладкой ягодкой, и настало время срывать ее. У Костика наступало тяжелое похмелье.

Пока Костик соображал, где он, начался ветер. Захлопала незакрытая форточка, загудело во всех щелях. Костик забился, пытаясь высвободиться из гроба. Но тело его и так оказалось свободно. «Голову сложили в ящик и закрыли!» — верещала паника, царапая своими когтишками Костикову черепушку изнутри. Руки Костика стали отталкивать ящик.

Надо сказать, что проснулся он на втором этаже возле упавшего на бок книжного шкафа. Голова его покоилась внутри нижней тумбочки. Дверцы тумбочки лежали отдельно...

Хоть шкаф и был легкий, но поддался не сразу. Он хрустнул, когда Костик из последних сил упер его в стену. Шкаф сломался. Костику открылся белый свет.

\* \* \*

С утра и до ночи весь мир был болен. Ветер носил тучи. Дождь сыпался, больно ударяя по крыше, бия

ботву на соседних огородах и лопухи на окраине Костикова участка, терзал листья берез, и везде вокруг стояло болезненное тревожное звучание. Гамак раскачивался от ветра и скрипел.

Каждый звук отдавался в Костике, будто удар. Была кровь в голове. Не было ничего, что могло бы утишить это избиение. Ни таблетки, ни пива.

Когда пришел Семен Семенович, Костику уже казалось, что он умирает.

Семен Семенович, обнаружив собутыльника в разобранном состоянии, сбежал домой и принес простокваши, а также капустного рассола. А еще оставил на столе таблетки анальгина. И тихо ушел. Костик, точно жадный бог, проглотил все приношения и уснул ненадолго. Во сне его мучил вой.

Проснулся он к вечеру, когда заря была цвета малины, а растительность вокруг лучилась от солнца, что спряталось за облаком и тайком подглядывало. Ветер кончился. Трава блестела. Ее цвет был таким темным, что даже мог бы показаться черным. Черная трава сияла алмазами. В ней что-то пряталось, ползло, стрекотало. Огород же, вскопанный Костиком, лежал шахматной доской, на которой кто-то закрасил все белые клетки черным.

Две березы — прямая и кривая — притихли, тихонько помахивая ветвями, будто приветствуя его. Он спустился с крыльца и побрел к ним. Постоял рядом, потрогал ту, другую. Он шагнул дальше, как бы перешагивая границу, которую поставил себе. За березами был полумрак, потому что там начинался лес. Хороший, березовый, ничуть не страшный, пропитанный солнцем, как губка мыльной пеной. Домашний, симпатичный лес. И где-то в этом симпатичном лесу заблудилась и пропала прекрасная девушка. Была ли это она на фотогра-



фиях? Не очень-то на его вкус красивая, но что-то было такое родное в ее чертах, такое неузнаваемое и такое родное.

Он брел по светлому приветливому лесу, весь растворенный в мыслях о неведомой девушке. Может быть, она все же спаслась. И устроилась где-то в городе. И наезжает иногда сюда в память о зловредном своем отце, которого все-таки по-дочернему любила. Да, конечно! Кто иначе привязал ленточку к прямой березе? Он вспомнил эту красивую розовую ленточку, тоненькую и блестящую, как ручей под солнцем. Он ее разрезал, дурак. Надо привязать обратно. Купить в городе ленточку или лучше платок, красивый, шелковый.

На широкой тропе нашел он маленькие маслята. Снял рубашку, связал в виде мешка и набрал грибов.

Вечером нажарил маслят. Это было странно, потому что грибов он раньше, осторожничая, не ел. Маслята с луком оказались волшебного вкуса! Желая с кем-нибудь поделиться открытием, пошел за соседом. Но того не оказалось дома.

Его жена Анна Сергеевна, узнав, что привело Костика, дала ему несколько картофелин и сметаны.

\* \* \*

На следующий день приехала Наталья. Она привезла из дома какие-то коробки. Костик заглянул: в коробках были книги и посуда. Наталья сидела тихо в углу, пока Костик молчаливо осматривал коробки. Потом она сварила макароны, натерла сыр и накормила мужа.

— Сашу в лагерь отправила, — сказала Наталья и виновато заморгала. Костик насупился, хотя на сердце у него сделалось легче. Он все еще был рассержен за Натальино признание. Уж лучше бы ничего не говорила!

Жена клевала свои макароны, вспотевшая, большая. Потом прибрала на столе. Смела рукой крошки. Потянулась к стопке фотографий, найденных Костиком. Но Костик поймал ее руку и забрал стопку. И унес наверх и положил во второй шкаф с целой тумбочкой. Он не хотел, чтобы Наталья задавала ему вопросы, он не хотел делиться с ней историей о девушке. Девушка была лично его, никто больше не мог разделять его интерес и его нежность.

Наталья вздыхала еще полдня. Она чувствовала себя виноватой. Не то чтобы в измене. Но в том, что наболтала мужу всякого. Психолог ей советовала обходиться с ним бережно, как с хрупким сосудом. Так и сказала: «Он у вас хрупкий сосуд». Эта фраза породила в Наталье новые ощущения. Костик никогда не был романтичным юношей. Он всегда точно знал, как устроить жизнь. Наталье он понравился сразу — они познакомились возле фонтана в сквере, где Наталья с подругами ела мороженое и рассуждала об экономических системах стран третьего мира. Они готовились к экзамену. К одной из подружек пришел парень, с ним были его друзья, среди них — бледный Костик с завитушками на висках и лихорадочным взглядом. Он признался, что его возбудило то, какая она умная. Наталье было очень приятно, что парень оценил не ее внушительный бюст, как бывало обычно, а ум. Это сразу расположило ее, и через пару дней они пошли в кино, а через неделю сняли совместно комнату в общежитии. Поженились они позже, когда отщепенец Сашка уже толкал изнутри Натальин живот.

Она дослужилась до чина в налоговой инспекции и была на очень хорошем счету. Наталья обожала порядок, поэтому с работой справлялась весело. Она обожала порядок, поэтому Костик как нельзя лучше подошел ей в мужья. Он был, в общем и целом, целеустремленным, сразу крепко встал на ноги, его работа всегда приноси-

ла доход. Он заботился о них, соблюдая святой принцип «всё в семью». Для Сашки муж приберегал самое лучшее, водил его на массаж, оплачивал дорожную частную школу.

Но с некоторого времени, года два как, Наталья заметила за мужем странности. Например, он не спал по ночам. Стал упрямым в мелочах. Иногда грубил. Стал требовать отчета о ее расходах. Раздражался на Сашу. Иногда ей казалось, что она, рачительная и умная, уже не любима своим благоразумным и экономным мужем. Ей казалось, что он нашел другую. Ей казалось, что ее покрупневшее тело, которое у нее самой вызывало некоторое недоумение, вызывает такое же недоумение у ее супруга. Ей казалось, что муж больше не желает смотреть на ее приятное, но немного опухшее лицо. Она казалась себе раздувшейся русалкой и по вечерам иногда поскуливала в подушку от огорчения. Но напрямик спросить у Костика не решалась. Не хотела раззадоривать — а вдруг и правда, и тогда, наверное, лучше не знать. А днем деловито соображала, что муж, как бы там ни было, никуда от семьи не денется. Он же не дурак — бросить квартиру, которую они купили, общую машину, дачу, сына и ее, такую умную.

Год назад она сама попыталась залечить свое раннее воображение в объятиях Игоря Игоревича, своего лысоватого подчиненного. Но Игорь Игоревич залечивать душевные раны отказывался, а требовал только плотских удовольствий. Его пришлось понизить в должности и перевести в другой отдел. Но это было так давно, год назад. Других грешков за Натальей не числилось. И теперь она тосковала от того вранья, которое наплела мужу. Он ведь у нее хрупкий сосуд.

На даче, где Константин должен был отдыхать, восстанавливая свои нервы, Наталья решила благоустроить все наилучшим образом. Она везла коробки с пред-

метаами домашнего обихода, везла постельное белье, книги, семейные фотоальбомы, безделушки — в общем, всё, чтобы муж почувствовал себя в своей семейной тарелке. Предметам еще не было определено место, и они находились где попало — в доме было мало мебели. Наталья отнесла наверх книги, расставила их в шкафу. Пристроила на полочку бронзовую обезьянку, а так же семейные и свои фото в рамочках. И услышала, как в дверь постучали.

Это пришел Семен Семенович. Он пригласил Костика и Наталью посетить грибные места.

\* \* \*

Грибные места оказались красивейшими. Правда, за полчаса поисков грибники не нашли ни одного гриба, зато отыскиали много свобододлюбивой костяники, которая редко растет кучками, в основном разбросана по лесу — одиночные стебли, увенчанные каплями прозрачной крови. Зато нашли живописные пни, на которых среди бархатного мха торчат солдаттики кукушкиных слезок.

В речке, которая неустанно катилась по камешкам, напились и оттого посвежели. На холм, покрытый валунами, взобрались и обозрели темные просторы, среди которых дачные поселки казались семейками грибов. Наконец добрались и до грибного места. Наталья покраснелась от азарта. Семен Семенович хихикал сквозь свои лицевые заросли и поглядывал на занятную Натальину фигуру. В молодости он был хоть куда и не оставил еще своих замашек. Даже Костик, который с приездом жены напрягся, теперь имел сияющее лицо. Он азартно выбирал грибы из лохматой травы, обнимал деревья, измазался в смоле и очень хотел есть.

Поели они в гостях у Семена Семеновича. Анна Сергеевна заранее, предвкушая гостей, наварила борща. Костик ел молча, сосредоточенно погружал борщ в себя.

На следующий день Наталья в город не поехала, а взялась наводить порядок. Сгоняла в ближайший поселок, купила клеенку для стола, два табурета, какую-то хозяйственную мелочь. Вечером пришли Семен Семенович с супругой, принесли пирог с ревенем.

Анна Сергеевна улыбалась, говорила мало. Моментами Наталье казалось, что она немая. Но это было не так. Анна Сергеевна рассказала Наталье семейный рецепт хрустящей капусты с брусникой. Голос у нее был теплый, как парное молоко.

Семен Семенович заливался соловьем. Константин молчал, долгими счастливыми взглядами изучал ландшафты за окном. В середине вечера он вышел прогуляться, но скоро вернулся. Долго шарил в чемодане, нашел куртку, надел и снова вышел. Наталья была занята разговором с соседями, так что отсутствие Костика никому не помешало.

И на третье утро Наталья проснулась, решительно не желая возвращаться в город. Она решила отдохнуть и обустроиваться. Был понедельник. Она позвонила сотрудникам, сказала больно́й. И осталась на даче дергать возмутительно цепкую траву. С нею промучилась до вечера. Но настроение заработала отличное. Вечером соорудила фруктовый салат. Еще раз сгоняла в поселок, привезла торт — ответ соседскому пирогу. Костик по своей привычке залез пальцем в крем, облизал палец.

— Ну Костик! Что ты как Сашка! — шлепнула его по спине жена. Костик запнулся, наклонился, из рубашечного кармана вывалилась фотография. Наталья заметила ее. Но ничего не сказала, вообще сделала вид, что не заметила, — к чему смущать мужа. Костик быстро

поднял фото и, поспешно чмокнув Наталью в жирную радостную щечку, выскочил из дому.

Потом Наталья увидела его из окна на ветру в гамаке, он качался между двух деревьев, прямого и кривого, с повязанной на кривизне тряпкой. Приятный цвет — подумала Наталья, рассматривая тряпку, потом Костика, который загорел и сделался как пирожок. Лицо его было задумчиво, но, кажется, спокойно и довольное. Наталья с вспомнила психологиню и (пожалуй, с легкой жалостью) те немаленькие деньги, которые ей заплатила. Сначала стоило попробовать отдых на свежем воздухе. И стала нарезать батон.

За окном завыл и все усиливался ветер. Он распространился на деревья, и вой получался совсем уж потусторонний. Наталья захлопнула форточку.

А вечером Семен Семенович и его супруга явились с огромным букетом овощей и зелени — в дар. Волосы Семена Семеновича, когда тот ступил на крыльцо, развевались во все стороны — ветер пошел отплясывать вкруговую. Наталья смотрела на овощи, на их красивые цвета. Она думала, а не оставить ли ей на участке место под грядки, не посадить ли морковку, а заодно лук и клубнику?

Тут все спохватились, что нет Костика. Наталья высунулась из дома. Но гамак был пуст. Под ветром она добежала до берез, желая углубиться в лес и посмотреть, нет ли там мужа. На березе болталась тряпка. Да это не тряпка! Наталья протянула руки, ослабила узел и сорвала с кривого дерева свой собственный сиреневого шелка платок, который купила в турпоездке в Китае. Наталья встревожилась, нахмурилась.

Она вернулась в дом. Анна Сергеевна резала салат. Семен Семенович, видимо, поднялся наверх — оттуда раздавался звук осторожных шагов. Наталья поднялась наверх. Семен Семенович рассматривал фото, которые

она выставила на полках книжного шкафа. Он обернулся к ней и озадаченно ткнул пальцем в любимую Натальину фотку — она в клетчатом пальто, хорошенькая, хоть и не раскрасавица, стоит с одноклассниками на набережной.

— Это вы? Ну непонятно мне тогда, — загадочно сказал Семен Семенович и почесал затылок.

Наталья решила потом спросить, что ему непонятно. Она увидела за книжным шкафом на раскладушке Костика, который сладко сопел. Одеяло съехало на пол. Наталья наклонилась поднять одеяло и заметила, что Костикова щека покоится на той же фотографии, которая выпала у него из кармана днем. Фотографию она тихонько выдернула из-под щеки, расправила. А к Семену Семеновичу обратилась:

— Я платок свой на березе нашла. Не знаете, как он там оказался? — она подумала вдруг, что, может, Семен Семенович или его молчаливая супруга выкрали ее наряд.

— На березе? На березе, значит. Дочка моя до отъезда ленточку к этой березе привязывала, подношение, так сказать. Природе, родным местам. Духам.

Наталья удивилась, открыла было рот спросить, при чем же здесь ее платок, она-то духам никаких подношений не делала и делать не станет. Но тут Костик заворочался на раскладушке. Ему снилось, что стройная девушка с фотографии, создание с мучительно прекрасными бровями, наклонилась и шепчет ему: «Отдай мою ленточку. Обними меня». Костик потянулся куда-то, потянулся. И вместо девушки береза ему навстречу зашелестела, зашелестела. Снизу из-под земли загудело, завывало. О чем корни деревьев думают под землей? Костику стало приятно от этого шума жизни, который свидетельствовал о бесконечном ее продолжении.

Семен Семенович взял фотографию, положенную хозяйкой на полку, и всмотрелся.

Наталья, предупредительно объяснила:

— Я с подружками, тоже на набережной. Последняя институтская встреча... А гостей у Костика здесь не было?

— Не было. Не видал, — Семен Семенович взял фото, и к удивлению Натальи, сунул его обратно под Костикову щеку. Наталья хотела возмутиться — помнет-ся фото! Но глаза Семена Семенович были безмятежны. Он только сказал:

— Ну надо же!

И оба они зашли за книжный шкаф и тихо стояли и смотрели, как Костик спит, положившись щекой на изображение, спокойный, ничем не мучимый, влюбленный во всех прекрасных призраках, какие только могла предоставить ему в распоряжение его пустая свободная душа.

Она сквозь землю рассматривала корни деревьев, которые здоровались с ней знакомым гудением.

По крыше заскакали белки.

Внизу по стеклянной доске быстро-быстро стучал нож, разрубая овощи к ужину.

Костик вытянулся на боку, почмокал и затих. Ему снились конфеты в золотых обертках. А над ними проплывала бабка-воспитательница Агния Борисовна, которая нагадала ему вечную любовь.



## Михеев и собака Павлова

Алексей Васильевич Михеев более пятидесяти лет проработал в Институте физиологии. В его трудовой книжке горделиво красовалось одна единственная запись: «13 мая принят в Институт физиологии. Электромонтер». И на этом можно было бы закончить наш рассказ, восхищаясь трудолюбием и постоянством Алексея Васильевича. Но все же есть достойный повод, чтобы мне вынуть из письменного стола еще чистой бумаги и поострее наточить перо. А вам — забыть на время о делах и сосредоточиться на короткой, но весьма поучительной истории.

\* \* \*

Итак, однажды Алексей Васильевич по давнишней утренней привычке пришел на работу. Это было году на двадцатом его ответственной службы. Доложу вам, что и кремлевские курсанты у стен Мавзолея не чувствуют такого долга перед родиной, как Алексей Васильевич, когда нужно ему вкрутить аккуратно лампочку в лаборатории или же поменять розетку в санузле.

Так вот, придя на работу, Алексей Васильевич сначала освежил горло — он всегда любил перед работой глотнуть холодного чая. А потом побрел по кабинетам в поисках перегоревших лампочек.

Лампочки, однако ж, везде горели. Да-да, везде. Вы можете мне не поверить, можете заподозрить в гнуснейшей лжи и высказать негодование прямо в лицо. И все же настаиваю: все лампочки в государственном учреждении горели отменно. Даже как-то подозрительно ярко. Белые двери глянцево посверкивали, когда Алексей Васильевич врубал неожиданно свет в коридоре, и казались таинственными воротами в непознанный мир. Везде в коридорах пахло лекарствами и стерильностью. Везде господствовали порядок и покой. И сам Алексей Васильевич спокойно, безо всякого колебания души, проходил мимо бутылей с чистым медицинским спиртом, включал настольные лампы, настенные светильники — словом, все приборы, которые должны освещать триумфальный путь науки в светлое будущее человечества.

Он чувствовал себя главным осветителем революционных научных открытий. И в глубине его чистой души скромно уютилась надежда, что оживление Владимира Ильича, которое, без сомнения, не за горами, состоится не без его участия. Он воображал, как ввинчивает ее, заветную лампу — и ученые, склоняясь над иссохшей мумией вождя, пытаются напоить жизненными соками ее пищеварительный тракт. В институте исследовали преимущественно пищеварение. Впрочем, оставим эти безнадежные фантазии их автору, который дошел уже до конца коридора на третьем этаже и проверил всё, что можно было проверить.

И только в самой дальней комнате, закрытой на восемь замков и в одном месте опечатанной пластилиновой пломбой, а в другом — заклеенной бумажкой, на которой нарисованы были череп и кости, только в этой комнате Алексей Васильевич проверить не мог.

И в связи с этим внутри у него зудел, чесался, стучался в ребра невыполненный долг. И мы лично склон-

ны верить, что это именно долг, а никак не сам Алексей Васильевич, склонился над бумажкою с черепом и берцовыми корсарскими костями и прочел: «Не вскрывать. Государственная тайна».

Тут Алексей Васильевич еще больше напрягся, поскольку его честная душа не могла допустить, чтобы в комнате с государственной тайною вдруг нечаянно оказалась перегоревшая лампочка. За это его можно прямо сейчас, думал он, обвинить в саботаже и поставить к стенке. Подумайте, каково это — знать, что государственная тайна, штука великая и практически непознаваемая, камень, на котором держится шестая (понимаете ли вы это! Представляете ли масштаб!) часть суши, чахнет и сохнет в омертвляющей темноте! «Это ли не измена родине?» — патетически вопрошало все его существо.

Измены родине он бы от себя не потерпел. Поэтому разорвал бумажку, отковырнул пластилиновую пломбу и стал подбирать к замкам ключи из тех, что во множестве лежали у него в карманах. Удалось ли ему подобрать ключ, достоверно сообщить не могу. Но известно, что дверь была им отворена, поддавшись легко, даже как-то подозрительно легко. Алексей Васильевич вошел. А войдя, оказался в полной темноте.

Полная темнота сообщалась этому помещению полною, беспросветною темнотою — и ничем больше. Здесь не было ни окна, ни выключателя, ни, очевидно, самой лампочки — хотя в этакой темнотище он не мог ничего в полной мере разглядеть. И только в правое ухо залетел ему потусторонний необъяснимый иррациональный шорох.

Михеев гордо носил звание электромонтера и был не из пугливых. К тому же хороший, хоть и вчерашний, чай взбодрил его нервную систему и активизировал силы организма. Фонаря он с собою не прихватил, так как это хитроумное приспособление использовал пре-

имущественно в подвале для отпугивания жирных черных крыс. Хотя, простите, тут я, безусловно, вру — какие крысы могут быть в научном институте, где совершаются великие научные открытия, в учреждении, которое составляет славу отечественной медицины.

Короче, фонаря у него с собою не оказалось. А вокруг сгущалась тьма. Она надвигалась американской свободой, китайской пехотой, доморощенным змеегорынычем — его смрадное мощное дыхание запросто могло свалить столетний дуб. Алексей Васильевич от этого дыхания даже покачнулся.

Ситуация сложилась критическая. Но наши электрики не лыком шиты и могут защитить свою электрическую гордость и отстоять в случае чего свою электрическую честь. Алексей Васильевич отработанным движением выбросил руку в сторону шума и — хват! — поймал что-то мягкое.

Поскольку источник света в комнате отсутствовал, монтер выволок добычу в коридор и рассмотрел. В руке у него был черно-рыжий загрызок. Остальная собака болталась снизу от загрызка, возле правого колена Алексея Васильевича. Она смиренно висела, критически вперся в монтера умными глазами.

— Михеев, не надоело тебе здесь клубиться, лампочки выкручивать, хватать что ни попадя? — сказала собака хриплым человеческим голосом.

Монтер нахмурился. Он был предан своему делу окончательно и сомнений подобного рода не терпел.

— Я тут работаю. А вот ты кто? — спросил он строго, подозрительно щуя глаз.

— Я-то? Я собака. Собака всего-навсего... Есть чего погрызть? — сменила тему собака, переведя взгляд на лампочку в коридоре.

— Собака? Хм, — очевидность собаки несколько смущала Алексея Васильевича, подозрения не оставляли его.

— Ну как тебе объяснить.... Ну собака. Со-ба-ка. Пэ-сик. Дог. Канэ. Хофханд. Ферштейн?

— Чего?! Пожрать? Не, пожрать нету, — с трудом переваривая такую массу иностранных слов, уже не так строго, а больше задумчиво ответил Михеев. А потом сунул руку в карман, вроде как разыскав бутерброд или хотя бы какую-нибудь колбасную шкурку, но ничего мало-мальски съедобного не обнаружил:

— Может, закурить?

— Можно и закурить, коли пожрать нету. А что курим? — спросила собака, неотрывно глядя на лампочку в коридоре.

— Вот, — Михеев, поковырявшись глубже в кармане, достал мятую пачку «Примы» и радушно протянул собаке.

— Минздрав предупреждает: курить такую гадость смертельно опасно, — она презрительно посмотрела в глаза Алексею Васильевичу. Тот от удивления всплеснул руками — и собака выпала посредством освободившегося загравка, приняла естественное собачье положение, отряхнулась и предложила:

— Мои покурим.

Алексей Васильевич отказываться не стал. С удивлением и удовольствием затянулся собакиной «Стюардесой» и укоризненно заметил:

— А чего тогда у людей стреляешь?

— Да так, для поддержания разговора, — собака ловко пускала колечки.

— Для поддержания, значит... А зовут тебя как? — уже добродушно, но все же с опаскою спросил Алексей Васильевич.

— Меня не зовут, я сама прихожу, — ослабилась собака. И подумав, сказала более конкретно: — Нету у меня имени.

Тут собака вздохнула. Одно ухо у нее горестно висело, другое задорно торчало, как бы укоряя мир: вот я вам, настоящая собака, а имени нету. Михеев подумал, что имени у собаки не бывает только в одном случае — когда нету у нее хозяина, некому бедолагу обогреть и накормить. Вот ведь, собаченция, тоже человек, тоже пожрать просит.

— Как-то так вышло. Только фамилия есть — Павлова. Собака Павлова. Полностью так именуюсь, — собака заморгала сильно то ли от огорчения безыменной жизнью, то ли, вернее всего, оттого, что дым попал ей в глаз. Собакам в этом смысле неудобно курить, дым морду обтекает и непременно стремится зрение затмить или уши пощекотать.

— Ну ладно, хоть фамилия есть. Павлова. Красивая фамилия. — вздохнул Михеев, у которого навернулись было на глаза слезы. Слезная пелена уже застелила правый глаз, и стало размыто вокруг всё и собака тоже — если встать вполоборота и смотреть на нее большей частью правым глазом.

Павлова почесала задней лапой за ухом.

— Да, ничего фамилия. А как там жизнь? Мировая революция победила?

— Нет еще. Но со дня на день ждем, — приврал Алексей Васильевич, чтобы не огорчать сироту Павлову, а больше — от неожиданности вопроса.

— Ага, — удовлетворенно сказала собака.

— Ага, — ответил ей электромонтер.

— Может, зайдешь? — собака кивнула мордой в черный проем, где клубился морок американской свободы и китайской пехоты.

Михеев подумал, что неплохо было бы зайти, поболтать по душам. А то сома в выходные выудил — а рассказать некому. Или вот про футбол...

— Ты за кого болеешь? Я лично за «Спартак», — будто бы читая его мысли, спросила собака.

— А я шахматы предпочитаю, — неожиданно для самого себя ответил Михеев. Вообще-то из настольных развлечений он предпочитал домино, но сознаваться в этом было неловко.

— Да ты что! Может, сыграем? — вильнула хвостом Павлова.

Михеев подумал, что в домино было бы, конечно, лучше. Но и шахматы тоже мозг развивают. Только как там ходит ферзь?

— А чего ты без света сидишь? — монтер посмотрел сначала в темень комнаты, а потом задрал глаза к потолку и плотоядно улыбнулся красивой яркой лампочке в коридоре. Ее можно вывернуть для освещения турнира — вдруг у собаки все-таки есть домино, потому что про ферзя он так и не вспомнил. Лампочка, будто почувствовав расположение к ней Алексея Васильевича, закачалась ласково.

— Чего в темноте пребываешь? — повторил вопрос электромонтер.

— Так государственная же тайна. Видишь, вон, написано, — собака ткнула лапой в обрывочек бумажки, который оставался на двери. — Кто же государственную тайну освещает? Ее только затемняют. А то мало ли кто мимо пойдет. А потом лови его. А потом его всяко... — Павлова замахала лапой как бы отмахиваясь от мухи цеце. И добавила кисло: — Да и жрать хочется, когда светло.

Если вы не были пионером, если вы никогда не носили алого, в аппликациях из соплей и киселя, галстука, если вы не ревели, как белуга, речевки и не били соседа по голове блестящим горном, если не укалывали нежные груди хищным комсомольским значком, если не укладывали шпалы на стройках социализма, если не кидались на осенних колхозных полях мерзлой карто-

шкою, а также морковкой и топинамбуром, в общем, если вы гражданин другой страны, то вам никогда не понять, отчего Алексей Васильевич после собакиной тирады сразу вспотел и похолодел. Вам тогда вообще всего этого читать не следовало. Здесь, конечно же, моя оплошность, надо было сразу паспорт попросить. Но теперь уж поздно, что уж теперь, читайте...

— Ну тогда ладно, — вспотев и похолодев, сказал Алексей Васильевич, быстро задвинул собаку Павлову обратно во мрак и захлопнул дверь.

— Ну ладно тогда... тогда ладно... — повторял, он ковыряясь ключами в замках, желая поскорее замкнуть их. Но руки тряслись, ключи в скважины не попадали. С той стороны двери защелкало. Сработали все восемь замков. Собака наглухо заперлась.

— Эй, Михеев! — захихикало из-за двери. — Михеев, а я всем расскажу, что ты открыл государственную тайну!

Алексей Васильевич подумал, что действительно будет нехорошо, будет очень-очень нехорошо, если все узнают. Будут порицать. А то еще и уволят. А то и посадят. Кто, кто будет тогда вкручивать заветную лампу при воскрешении Ильича?! Авдеев?! Или Петров?! Нет, только не Петров, этот двуличный сукин сын, заныкавший государственные лампочки, чтобы осветить свой личный коридор, свою частную лестничную клетку! Не бывать тому! Алексей Васильевич изобразил пролетарский кулак, со свистом потряс им в воздухе: не бывать! А потом ласково обратился к двери:

— Слышь, ты не говори. Не говори, что я заходил. Может, я тебе еды принесу, а ты за это молчать будешь?

— Во-во, принеси. И курица захвати, знаешь какого... На лету все схватываешь, — удовлетворенно сказала дверь.



— Я ж тебе дверь открыл, в коридор выпустил! — пристыдил Алексей Васильевич собаку.

— Ха! Он открыл! Послушайте, люди добрые, он открыл! — заорала Павлова.

— Тише, тише ты... — заоглядывался Михеев. Скоро уже должны были прийти лаборанты..

— Он мне еще и пасть затыкает, посмотрите на него! Открыл меня! В коридор выпустил! Вот умора! — тьявало, заливалось на весь институт.

— Чего голосишь, тише давай! — Михеев не на шутку испугался.

— Государственная тайна сама открывается, когда надо! И, когда надо, закрывается! Жрать тащи!

Где-то внизу хлопнула дверь и Алексей Васильевич поспешил прочь в поисках съестного. Нужно было успеть до прихода лаборантов, которые всегда суют свои измученные углями носы в чужие дела. Где бы поблизости достать? Можно забежать к Алевтине Петровне, вчера она вроде звала на пирог с мясом? Михеев бегом вернулся в свою каптерку, отхлебнул чайку, натянул кепку поплотнее и поспешил к Алевтине Петровне за пирогом.

Вы спросите, к чему все это? Чему это безобразие должно поучать? Как вся эта идиотская история связана с великолепной, гордой записью в трудовой книжке уважаемого Алексея Васильевича Михеева, электромонтера? Впрямую связана, смеем вас уверить!

Никто никогда не узнал о том, что именно Алексей Васильевич сорвал пломбы с государственной тайны. Алексей Васильевич проработал до самой пенсии еще тридцать лет. А выйдя на пенсию, изъявил желание и далее трудиться на благо родного и любимого Института физиологии. Он приходил раньше всех, а уходил позже самого последнего профессора. Но если бы вы

слышали, как он по ночам скрипит зубами! Если бы вы слышали, как проклинаят тот день, когда долг электрика-монтера взял верх над благоразумием! А когда он ложится спать, ему всегда, вот уже тридцать лет, снится одна и та же черно-рыжая собака. Во сне она говорит ему человеческим голосом: «Эй, Михеев! А я всем скажу, кто снял пломбы с государственной тайны»...

# Тело

*Сказка*

Тело, прибывшее на маленькую станцию, увешанную сверху звездами, увенчанную покачивающейся луной, было плотно упаковано в узкую темную куртку с торжественно вытянутыми книзу рукавами, как на похоронах.

В нем образовывалась — и это было бы даже слышно, но мешали поезда, и ветер мешал, пробегая между поездами, — особая идея существовать. Как бы для всего — и ни для чего.

Оно смирно грустило, ожидая окончательного прихода ясности, которая закруглила бы его дорогу, привела бы наконец к какому-нибудь крыльцу или камню — хотя бы камню.

Ветер заелозил по вагону, где подпрыгивала разбуженная бумага. В бумаге много правды, даже в такой изорванной, немного намокшей, ошметочной. Но и много лжи. Лживой стороной, пятнистой, селедочной, бумага прилепилась к обнаженному пальцу тела, с лукавым терпением ожидая. Чего? Наверное, наступления полной ясности.

Палец, круглый, грязный под ногтем, пробовал ветер. Не очень сильный ветер, это только кажется, что сильный. Дряблый ветришечко ползает по полу вагона, подлизываясь к бумажкам. Палец солон.

Бутылка покатилаь из угла в другой угол, украшенный мусором. В мусоре блестела новогодняя дождинка и черная бумажка с прописными буквами С и Ш. Наверное Советское Шампанское. Но пахло мочой. Ну а чем же еще могло пахнуть, если Советское Шампанское? Ну конечно...

Палец стукнул об пол вагона.

\* \* \*

Старушка Белова Марья Николаевна считала котят, которых сообразила под фикусом, сохранившимся с царских, думается, времен, одноименная с нею кошка. Кошка Марья сердито качала хвостом, но глаз не открывала. Ей не нравилось, что Белова считает ее котят. Раз считает, значит, унесет. Кошка, надо полагать, думала о том, каких же котят ей не жалко, а каких жалко, а каких — всего жальче. Оказалось, что жальче — всех. А Белова тормошила приплод, перебирала деревянными пальцами, которые кошка когда-то любила, но со временем разлюбила, потому что, глядя на них, всегда припоминала факты исчезновения котят.

Белова насчитала восемь. Она подумала: надо принести ведро. Но отчего-то у нее сделалась немощь в руках, в узловатых пальцах, и она решила отнести котят на рынок. Старость, должно, подходит.

Там, на углу рынка, у табачного киоска, соседка Рашидовна принимала пищащую животную дрянь — пятьдесят рубликов за писк. Деньги, которые брала в придачу как бы на кормежку, на самом деле оставляла себе, присваивала за труды держания и раздавания. И, кстати, все знают это, продавала котят по пятьдесят рублей. Чистого навару — сто рублей выходит. Белова даже чуть позавидовала Рашидовне, она-то так не может, ей жалко, аж неприятно — Рашидовна, потому что котят не кормила,

деньги котячьи скапливала, Белова бы кормила. Журила себя Марья Николаевна за расточительность. А что ж — умела бы, как иные, так не маялась бы в халупе с кошкой и фикусом! Белова себя с этой стороны всю жизнь не одобряла. Она обмеривала в уме прошедшую жизнь — была поваром, была кладовщицей, завмагазином «Овощи-фрукты». И, что ли, брала?! Нет, не брала! Ну и не взяла — мыкай, значит! Не взяла ничего — такая ты, значит, и есть! Хотя и порицать никто бы не стал, если бы взяла. Никто не стал бы! Наоборот, позавидовали бы!

Марья Николаевна от дум расходилась, наливалась грозой, тучнела лицом. И вот захотелось ей притащить ведро поскорее... Но котята сбежались к матери под брюхо и присосались. Белова шмякнула рукой о бедро, о свою старушечью мягкотелось. А куда ж Рашидовна девает дохленьких? Дохленьких она, верно, выкидывает в урну возле киоска. Или китаезам рыночным отдает, эти и тараканов жрут.

Марья Николаевна погрузила приплод в мешочек, мешочек засунула за пазуху. Может, Рашидовна возьмет так, без денег, по-соседски. Вон, телевизор купила, богатейка, так пусть возьмет.

Белова вытащила с балкона самодельные крепкие санки — от внука остались. Длинные санки, хоть взрослого катать. На санках можно на обратном пути картошки привезти, картошка-то кончилась.

Оделась.

Надо Рашидовне пирожочков наканунешних собрать, подмаслить гадюку!

Пирожки она положила к котяткам.

\* \* \*

Коробочница Рашидовна котят за просто так не взяла.

У, сучка татарская, недаром же татарская, забулькало в душе у Беловой. А может, она их Шушере, владелице здешнего пирожкового бизнеса, настряпню продает, дохленьких-то? Белова в сердцах упрятала пирожки поглубже за пазуху, не захотела и предлагать, раз такое было к ней отношение, и поехала обратно. То есть за картошкой.

Как только Белова отчалила, Рашидовна сразу стала думать, что неплохо было бы перекусить хотя бы пирожком. Она любила с яйцом и рисом. С рисом и яйцом на рынке не продавали, все больше с мясом да картошкой. С картошкой Рашидовна не любила. А с мясом не брала. Шушерские работницы сами, помнила Рашидовна, продавая, не ели.

Вот ведь старое бревно, подумала котятница про Белову, хоть бы пирожков принесла, тогда, может, и взяла бы у нее котят. Вчера у нее из квартиры, слышала Рашидовна, пахло пирогами.

Марья же Николаевна, не ведая желания Рашидовны, теперь увозила неведомые, неотпробованные коробчицей пирожки все дальше. И своих котят.

\* \* \*

Белова прошла с километр по весенней улице, до развязки, где грудились вагоны, где стояли составы, ожидая. Она спустилась на рельсы, которые тянулись как бы оврагом. Санки брякали о рельсы, которые толстыми железными волосами разлеглись по всей овражьей ширине.

У нее была привычка заглядывать в вагоны, где она удачно находила всякие продукты. Как-то нагребла там семечек полные карманы—просыпалось из мешков. А то как-то луку набрала. А уж арбузов наколотых домой приносила и яблок — тьму. Грузчики — народ неаккуратный.

Вокруг ползал ветер, проникая в рукава. За пазухою шевелились котята. Мелочь пузатая! Кормить чем их? Старуха ударила себя по груди. Под пальто замерло. Помяла ли пирожки?! Про пирожки-то забыла совсем.

И ударила снова, посильнее и где нужно.

\* \* \*

Вагоны пусто раззявились на Белову, мол, тащись, тащись, старая карга, нету сегодня картошки.

Один только приветливо показывал внутренности, где, длинно вытянувшись, ожидало тело. Белова сначала потрогала ботинок, грязный, однако новый. Потом увидала выше палец. Раз палец есть, значит, живой человек.

— Эй! Вставай, едрена вошь, лежит тут! Эй! Заболеешь, черт!

Тело свистело ветром и постукивало, но по-человечески не отзывалось. Марья Николаевна потянула носом, пытаясь почуять. Нет, пьянью не пахло. Не пахло и гнилью.

Белова подумала чуток и потянула за ногу. Тело свалилось в санки. Как уж она вывезла этакую-то массу — и сама не поняла. Вот вроде старуха, а какова! Мария Николаевна нашла место поположе и вытянула санки из железнодорожной овражины. Ну, теперь по ровному — и до дому. Котята снова зашевелились.

И то — живая душа, жить хочет, шевелится. Оставлю. Пусть татарва, прорва нерусская, душегубством занимается. Марья Николаевна подумала, что она поставит иконки, которые валялись у нее на антресолях — две так или три, поставит поближе, в красный угол, надо на глазах держать, Бога не забывать... А то и в церковь сходит. А котят оставит. Прокормит теперь.

Белова погладила пальто на груди, довольно посмотрела на санки и поползла дальше в туман, который грязно накрывал улицы.

\* \* \*

Вчера на рельсах сбило мужика без ноги. Так все пальцем у виска крутили — кто ж без ноги по рельсам бегаёт! Пожалели потом, перед сном, перед лицом темной страшной ночи.

Во дворе пятиэтажек, которые дремали возле железной дороги, собрались люди. Обсуждали безногого и пили синявку. Железная дорога безжалостно кромсала город во многих и многих местах, в местах уродливых, гнилых. Остовы тополей торчали в мерзости здешнего запустения пальцами назидających святых. Но жило здесь не так много верующих. Однажды побили пацанов-иеговистов. Отобрали костюмы.

Жека вышел со двора, где люди обсуждали глупую смерть.

Мужик был известен Жеке потому, что пил. Даже желтый ходил, печень потому что разрушил. Так, может, он специально под поезд прыгнул? Да нет, специально навряд, в термоске спирт нес, с завода стырил. Точно не специально. Сначала выпил бы. А как, бишь, была его фамилия?.. Хотя фамилия — это только неудобство одно, стеснение паспортное.

Жека сам имел, конечно, фамилию, но без фамилии ему было как-то уютнее. Свободнее, что ли. Хотя фамилия-то была простая, в сотне других не обратишь на нее внимания, не узнаешь — Иванов. У мужика такая же, что ли, была фамилия? Или похожее что-то — не то Петров, не то Козлов...

Жеке было сегодня довольно хорошо. Теплынь уже набирала силу, набухала. В ней, как листик в почке, по-



коился Жека. С утра у него уже побывала компашка, дерябнули, не без этого. Нормально так. Жека застегнул покрепче куртку-пилот, новую, и зашагал. Он никуда конкретно не шел, он гулял. Жена с Жекой-сыном умотала к теще в деревню. А холостому, хотя бы и временно, мужику мир симпатичней кажется.

Жека шел навстречу Беловой.

\* \* \*

У магазина, где Белова наострилась купить картошки, она оставила санки. Хотела было заволочь, да не подняла на ступеньки, устала уже. Решила оставить на улице. Огляделась. Вроде никого, не сопрут небось. Более всего она опасалась за пропажу тела, так как твердо решила оставить котят у себя.

Жека увидал санки наметанным хищным глазом издалека. Вблизи разглядел узкую черную куртку, грязные, но добротные ботинки, шапчонку какую-то. Потрогал. Тело свистело ветром и скрипело снегом. Но по-человечьи не отзывалось. Ишь ты, подумал Жека. И потом, следом, он подумал о Шушере, которая продает на рынке пирожки и чебуреки. Шушера, махровая бабенка, мужика в тюрягу укатала и теперь девок наняла — и процветает, зараза. Вон, на прошлой неделе купила что-то... Коробку он видел. Деньги, значит, есть.

Жека подобрал веревочку, которая смотрелась на куртке как чахлый белый росток на черном жире земли. Как спаржа — ухмыльнулся Жека своему знанию. Где-то читал, что это растение белым растет в земле и белым его лучше есть. Толщиною оно в палец. Жека зажал веревочку и потянул санки. Тело, как щупальце, выпустило руку. Она устремилась к земле и царапала белым спаржевым пальцем черный мартовский снег,

пока Жека волочил санки к Шушере в частный сектор. Жека иногда оборачивался и смотрел на палец.

Приехали скоро. Из дома Шушеры сладковато несло печеным.

\* \* \*

— Пожрать не предлагаю, все равно откажешься, — забасила-загрохотала Шушера ехидно навстречу Жеке. И мимо него в дверь зарычала: — Эй, чучело, коли мельче да складывай ровнее!

Жека обернулся и увидел изглоданного пространством, вымытого водкой человечка с лицом усталым и желтым, как ломтик лимона, побывавший в чае многократно. Водочная желтуха — наметанным глазом определил Жека и уселся за стол, где Шушера оборудовала чай. Чай пили с пастилой, залежавшейся и сладкой чрезвычайно. Шушера выходила пару раз на крыльцо, осматривала санки, тыкала пальцем под шапку. Увидала палец, грязный, потрогала носком ботинка. Нагнулась пониже и принялась.

— Ниче.

Вернулась и обволокла задом табуретку.

— Ниче.

Жеке от этого ее «ниче» сделалось как-то зябко, как-то сыро. Сыро — так дверь хозяйка неплотно закрыла, только-то.

После чая, который прошел почти молча, Шушера ушла в комнату. Жека потыкался по кухне и приблизился к соседнему помещению, где располагалась кухня побольше. В банной шайке лежали горой пирожки. В чане поспевали следующие. Их переворачивала одноглазая женщина Люся. Люся увидела человека и подмигнула ему, на мгновение ослепла будто. Подмигивание устрало Жеку. Люсин единственный глаз был

похож на моргающую звезду во всей ее мощи и непознаваемости. За Люсиным телом горой на столе, возле колоссальных размеров мясорубки, краснела красная-красная земля. Жека попятился к двери и встал, подпирая ее спиной.

Шушера вернулась с пятисотрублевкой.

— Три, — сказал Жека.

Шушера ушла и вернулась еще с одной. И открыла дверь, как бы говоря, что торговля закончена. Жека хотел бегом, зажмурив глаза, пробежать мимо саночек в ворота, и до магазина, и выпить скорее, а то не по себе. Точно, ведьма.

Ведьма поймала его за рукав.

У крыльца ни саночек, ничего не было.

Жека послушно отдал деньги назад.

\* \* \*

Иногда нужно выбирать между здравым смыслом и свободой. Сосны на это согласно шевелили высокими макушками, и согласно дрожал воздух.

В тело, которое двигалось по прямой на речных длинных санках, входил этот воздух через макушку головы — черная шапка растеклась по лицу. Тело скрипело, в него поселялись звуки. Его обуревало окружающее — своим желанием вместиться всем колхозом внутрь. Как же вы там вырастете, сосны? Как торчащий подводный лес водохранилища? И, камни, как вы ляжете по овалу нутра? Нагромоздив горы и пустив между собой растения? Алузен, алузен, поднимется и сойдет, обобьет нутро водяным и небесным бархатом. Живи, тело, впускай и выпускай вещи.

Впереди скрипело под ногами. Чья-то одна нога была хромая. На тело упало несколько щепочек с идущего — ветром сдуло. Ветер ковырялся в петлях куртки.

— Что природе до тела, которое незнамо живо ли, мертво ли? Природе, конечно, нужна определенность. Хотя природная определенность — это самая по сути-то неопределенность и есть. Запалишь костер — определенно вроде огонь, туды-сюды. А подует природа — так и нету огня. А вроде бы и сама не против огня. А чего ей быть против, коли он ее стихийная температура и есть? — черный косматый чужой рот обращался туда, откуда шел ветер, обшупывавший теперь хозяина рта. Философский рот задымил сигареткой, и в дыме сморщилось еще больше печеное яблочко лица, желтое от разрушенной печени.

Везущий санки только в этом дыму проступил отчетливо. Точнее, проступили его голова и рука. Углубившись в лес, он точно нюхом определил какой-то бугор, что-то отодвинул, что-то дернул — и в кустищах раззявилась яма. Яма была землянкой и существовала тут с незапамятных времен. Бомжи ее только сильнее раскопали и расширили — чтобы влез крошечный столик. Крошечный столик скрипел в уголке землянки, когда на него ставили полную тарелку.

— Когда тело замирает, это что-нибудь да значит. И дух от негодохлый не идет, и душа не шевелится. Куда-то спряталась, видать. А то и побродить пошла. Бывает, от жизни и побродить захочется, а то как же. Как бы в отпуску побыть. Вот, ушла твоя душа в отпуску побыть, слышь?

Тело ветрами гудело и глухо стонало тяжелой лесной землей, но по-человечьи не отвечало. Желтолицый заглянул в землянку, а потом стал палить костер.

Затрещало дерево, распространился дым. И человек стал виден весь: в нем было мало ростику, а голова — одуванчиковая, будто живой ниточкой присобаченная к кособоким широченным плечам. Санки с опустошенным телом скрыла белая дымовая завеса.

— А то, может, чего страшного увидала, да и спряталась, как котенок в валенок. А мы ее пригреем, да, может, и вылезет. Организм-то штука закоулистая, сразу-то не поймешь, что куда залезло.

\* \* \*

Наступали сумерки, прослоенные красным и густым синим. Ночь допекла пирожок, он почернел, подгорел. И вылупились наружу, как пирожковая начинка, звезды.

— А вот и пора...

Хозяин землянки снял с санок тело. И потащил к обиталищу.

— Нет, не так тяжело. Значит, душа там затуркалась, плачет в уголку. А работу свою делает, тело легчит.

Ходячий спустился первым и потянул. Неходячее тело гладко вошло в нору. Хозяин принял его снизу, уложил. Ясно горела лампа на свежих батарейках, и было все видать — и фанерную обшивку стен, и столик, и кроватку. Кроватка была нары. Неширокие, но все же хорошо поместиться могли двое — если в обнимку.

Хозяин примостился на краешке нар, сложив руки на столик. Так посидел маленько.

— Ты не бойся, тут бояться нечего. Жизнь штука добрая — если на ее с птичьего полету посмотреть. А человек только так и должен — с птичьего, а то и повыше. Иначе только говно под ногами увидишь, вот так-то. И сам-то тогда, в этом-то печальном случае, будешь что? Говноед, да и всего-то... Если же с полета видеть, то и горы, и леса, и друга, и хорошее-плохое — все видать. И название всему тогда существует. Человек-то в тебе сейчас спрятался, испугали его. А существо-то как есть живое.

Ни куртки, ни ботинок снимать с гостя хозяин не стал. Сам скинул обжеванное жизнью сальное пальтецо, обувь и обнял неподвижное тело. И так оно все замерло.

\* \* \*

Ночью хозяин вставал, пил из бутылки. Бродил, разговаривал.

— Кто-то должен тебя выпустить, а то ж заперли, где видано, живого человека запирать.

Ночь угукала ему сверху, соглашаясь и напуская в знак согласия еще больше темноты. Темнота проникала в самодельную печку, труба которой замаскированно выходила в кусты.

— Растопить, пожалуй.

Печка загудела, прогоняя темноту по углам, а потом и вовсе наружу. Ночь обижалась.

— Не обижайся. Не могу я тебя пустить, дорогуша.

Печка скоро сильно нагрела землянку. Тело, казалось, напухло, приобрело невероятные размеры. Оно заняло половину всего подземного места.

— Эж распирает!

\* \* \*

Беловой тревожно спалось в эту ночь, которая показалась ей особенно темной. Кошка собрала выпавших старухой полуживых котят, украла из тазика пирожок и, счастливая, залегла в углу под фикусом. У Беловой были видения. Ей мерещились разъявленные вагоны, которые хотели ее проглотить, да она не давалась. И тут из темноты одного вагона выплыло тело в черной кожаной куртке и сказала ей: «Я — тело. Я тебя съем. Я емь рот». Белова вскакнула с перины,

испугавшись. Но поняла, что навалился дурной сон, и скрючилась под одеялом обратно. Кошка еще долго смотрела. И вот одеяло приподнялось, опустилось, подрожало — и затихло.

Белову хватил удар.

\* \* \*

Циклоп Люся тем временем оставила свое орудие мясорубку, поставила кровавые тазики в мойку и вышла через кухню во двор, а потом на улицу. Хорошенько приперла за собой ворота. Уже светало. Через природу виднелась урбанизация, трубы. Дом, откуда Люся вышла, костенел возле высоких сосен, которые всегда качались, живые. У Люси от этого качания кружилась тяжелая, грубая, словно вырубленная топором голова. Врубель — прозвали ее лепщицы и так называли за глаза, да она слышала и не обижалась. Люся закончила училище-«кулек» и знала, кто такой Врубель. Лепщицы этого не знали. Люся чувствовала свое превосходство и от этого всегда имела хорошее настроение. Ее одинокий, но очень зоркий глаз заслезился от ветра, который тек между соснами. Природа была прочной и была от этого сродни Люсе, тоже невероятно прочной. И ее, Люсю, как и природу, давно не тревожили бессонные ночи. В этих ночах она любила получать удовольствие от прочности природы вот так, выходя из чужого дома утром. К своему дому был путь через рощу на горе, через улочки частного сектора и две пятиэтажки. Там ждала древняя мать. Мать еще доила плохо сгибающимися пальцами двух коз. Видя ее усилия день ото дня, Люся думала без горечи: скоро умрет.

Люся шла и шла по горе, разбивая ступнями песчаные комки, шуруша сосновыми иглами. Воздух вокруг нее пел и плясал. Когда немного полысело и поверх за-

рослей багульника обнажилось темное небо с кучеряшками тучек, Люся глянула вниз и вдаль — на свой дом.

Он был маленьким. Подумала со страхом и удивлением, как она туда влезает со всеми своими ногами и руками, а главное — головой. Этакий ведь фарш, думала Люся. И не перемелешь зараз.

Она ходила быстро. За десять минут перешагнула со склона напрямик к пятиэтажкам. Пнула приставучую собачку, растерзала космическим своим телом сиреневые заросли и шагнула прямо внутрь, чтобы срезать путь. В середине зарослей стояла черная широкая фигура и качалась, как воздушный шарик на ниточке. И не уходила, и не уплывала. «А вы покушайте...» — предложила фигура гулким пустым голосом, как будто разговаривала комната, из которой всё вынесли. Фигура показалась Люсе знакомой, например ее личным отцом. Она его никогда раньше не видела.

Личный Люсин отец где-то существовал, презрев Люсю. Но все, что было в природе, уверяло: он есть, потому что это неоспоримый человеческий факт. Хотя у мамы не было ни одной фотографии, Люся верила. Люся в мечтах видела себя балериной, чтобы ею все гордились. Она выучилась на организатора культмассовых мероприятий. Но, наверное, не нашлось мероприятий такого масштаба, которые достойны были бы Люсиной мощи. И детей у Люси не было из-за мощи. Она бы задавила младенца еще внутри. И мужчины не имелось. Бывали такие, которые шарили по Люсе взглядами, как крысы в поисках пищи. Но Люся эти взгляды увидеть и даже почуять не могла, уж больно была велика в ней стихийная сила, которая замечала только большие предметы и крупные чувства. Вокруг ничего такого почти и не было.

И вот перед Люсей парило тело. Оно было крупным, оно крупно смеялось. Оно показывало на Люсю круп-



ным белым пальцем. Люся его увидела. И вдруг обуял ее какой-то нечеловеческий вселенский голод. Она недоуменно тарасилась вокруг и на тело, желая что-нибудь присвоить, сделать лично своим. А потом, оставив тело сбоку, ринулась в дом.

Трухлявая старушка сидела за столиком в детском креслице и ждала дочь, чтобы поить чаем. И когда каменные руки схватили ее горлышко, сжали шейку, она закудаhtала по куриному да и отдала Богу душу. Деревянный стол заскрипел, когда Люся начала вращать настроенную мясорубку. Пальцы ее попали в мясорубку, и она раздавила их вместе с материнским мясом, но ничего не почувствовала и не заметила, вращая оком бессмысленно. А потом настряпала черных котлет.

\* \* \*

«Зачем напился, нажрался, как свинья?» — думал о себе Жека. И эта пронзительная мысль словно дырку выскребала в его башке, глупой не от природы, но от жизни. Жизнь пульсировала в нем возмущенно, проявлялась тошнотой. Завтра свои должны приехать. Завтра приедут. В себе Жека чувствовал невыносимую скорбь. С похмелья он обычно плакал и клял себя. Потому что от всего уже отказался — жизнь свою он недолюбливал, хотя и был к ней привязан. Нажрался же он с перепугу.

Бывает такой тяжелый, необъяснимый перепуг.словно бы в мире все чуть-чуть смещается и под привычной картиной проступает другая. И на ней изображено вроде все то же, но только отдельные вещи видно настолько ясно и страшно, что теряется человек и себя ощущает иным и подобрать себе названия не может. Свои глубокие душевные морщины он осязает и боится их. И темное Оно в нем закипает и поднимается. И что делать? Особенно такому простому человеку, как Жека?

Погребать это темное и страшное в каких-нибудь пучинах, пусть у него закружится голова и оно впадет во временное беспамятство, а потом вовсе уберется прочь. Так Жека и сделал.

Алкогольные пучины погрузили Оно в себя, потом, похмельным отливом, обнажили — и оказалось, что Оно никуда не девалось. Только хуже стало.

«Вот люди! Вот опухоли природы!» — вопиял Жека. И на ум лезло: завтра приедет жена Машка и Жека-сын. Штора на окошке колыхалась, и от этого кружилась голова. Жenu Жека любил. Так уж получилось.

Со двора донеслось дребезжание, голоса, шум. Жека сдвинул штору и впился носом в стекло, смотреть. Там стояли машины с мигалками и еще одна юлила, ища подъезда.

Все группировалось возле домишки с сиренями, которым начиналась дремучая полоса частного сектора, взбегающего потом на гору, где стоял ведьминский дом Шушеры.

В Жеке загорелось тревожное любопытство, и, подавляя похмельную тошноту, он плотно закрыл цветастые шорты, накинul рубаху и попрыгал, теряя тапки, вниз по лестнице.

На улице едва не врезался в полицейского. Тот царапал в блокноте. Возле него вились две мелкие, как рыбки мальки, старушонки, заглядывали в блокнот.

Скребет бумагу. Как доктор. Так подумал Жека, отошел на полшага и прислушался о чем там полицейонер со старушонками разговаривает.

— Не ходила, нет.

— Так Люська содержала... Она.

— Смирная, как корова.

— Да всё матери поможет. В школе-то умственно отсталой была, что ли...

— Да ну! Чего это отсталой?! Нормальная была...

Потом вывели из двери дома Люську. Вот что увидел Жека: не Люську, а толстую гору, не Люську, а голема Шушеры. Люська не смотрела больше даже своим единственным глазом. Глаз был закрыт белой повязкой. Второй, напротив, был свободен от всегдашней повязки — абсолютно белый и огромный, точно как вареное яйцо.

То, что было на месте живого еще вчера глаза, Жека отчетливо представил: красная живая дыра. Такие дыры засасывают всё в космосе. Жека не знал, но по факту повязки определил довольно точно — глаза у Люси не было, она его уничтожила. Теперь она была совершенно слепая.

Те мужички, что висели по обеим сторонам женщины-горы, смотрелись прищепками, а не мужиками. Даже форменная, с погонами, роба не спасала. Даже кобуришки.

— Че глядишь? Не гляди, не гляди... — подкрался сосед с первого этажа Михаил, вечно тревожный и тихий.

Жека молчал.

— А хочешь, так гляди... Люська-то мать свою съела.

\* \* \*

У дома Шушеры скрипело дерево. Жеке казалось, что оно сейчас его выдаст, хозяйка придет посмотреть, что скрипит, и обнаружит Жеку. Тогда не сдобровать.

Когда дерево стихло, Жека подождал чуть и открыл воротину. Сумерки скрывали его не хуже, чем могла бы скрывать темнота. Он тенью просочился с крыльца в дом, миновал маленькую хозяйскую кухню и встал на пороге пирожково-чебуречного цеха. Там было сыро. У мясорубки возилась Шушера, стояла задом к нему, не видела.

Зад ее был нарядный. Вполне человеческий зад. Даже привлекательный в чем-то — Жека впервые посмотрел на Шушера нормальными, не затемненными страхом, глазами. Но этот здравый взгляд он задержать не смог, мясорубка затрещала — и первобытное ощущение вновь обьяло его. Почувствовав себя крошечным перед такой стихийной силой, как Шушера, Жека затрепетал, попятился и спихнул какую-то посудину. Шушера поворотилась на звук.

— А, обманщик пожаловал.

Сегодня она была совсем не старой. Такой — старой и вечной — видел ее всякий, входящий в эти смрадные покои, пахнущие тлеющей кровью. Но сегодня она была молодой. Появились зад, затянутый бордовым платьем, накрашенное лицо, где выступили черные тире бровей и длинные загогулины по векам, рот, обведенный малиновым.

— Муж выходит, — Шушера заулыбалась и продемонстрировала себя поворотами и тяжелым реверансом.

Жека, который расслабился, воспринимая женскую природу ее фигуры, понимающе кивнул головой вверх-вниз. Шушера качала перед ним тяжелыми гладкими грудями, сладко выпирающими из платья. Он перестал смотреть на ее нарисованное лицо и повлекся к грудям. Гипнотический сеанс закончился от позвякивания рюмок — женщина достала бутылку и крупную посуду.

— Завтра выходит.

Они выпили до дна, и еще, и еще. Закусывали сыром, икрой и огурцами. Потом Жека, робея, повлекся за хозяйкой в недра дома, на удивление нарядные, хотя и темные, завешанные густыми шторами. Там хозяйка навалилась на него тяжело, стала общупывать твердыми холодными руками. Как мясо на рынке, подумал Жека, и его захлестнула новая волна ужаса. Он дернул-

ся. Шушера едва не упала. Она скривила малиновый роток, повела плечиками — не в обиде, а будто в предвкушении. И улыбнулась широко.

— Куда ты покойника-то дел? Жалко, что ли, стало? — вдруг ни с того ни с сего спросила она.

Дальше уже было совсем страшно, и Жекины руки подняла неведомая сила, сцепила их на черном, как казалось Жеке, женском горле. Пока руки держали горло, Жекина голова думала о том, что завтра приедут жена Маша и сын и надо бы прибраться в квартире.

\* \* \*

Дом на горе полыхал так жарко, что повредились иголки на соснах, росших через дорогу.

Набежали люди, отстаивали от огня соседские дома, валили заборы. Этот — не спасали. Этот гиб страшной прилюдной смертью в наказание. Пожарные приехали, но скважина не давала им воды.

В лесу на корточках сидел человек и смотрел в сторону огня. Это был Жека. Потом он выпрямился и покакал, как заяц, через лес. Частые, точно гребень, деревья, казалось, чинят ему препятствия, останавливают. Он проваливался в ямки, наполненные жидкой холодной грязью. И наконец налетел на какой-то бугор, перекатился через высокий куст и замер лицом над узкой ямой. Яма была заткнута человеком.

Если Жека тотчас не сошел с ума, то исключительно потому, что нога и бок, торчащие из ямы, показались ему знакомыми. Он узнавательно всматривался, тяжело и часто дыша. Потом его ударили по голове.

Очнувшись, Жека обнаружил, что обездвижен — привязан к дереву. Вокруг царил темнота. Тот, кто привязал его, сидел по ту сторону маленького, но яркого костра и был поэтому невидим. Он пел.

Жека подергался.

— Ты не дергайся, паря. Тут надо тихо сидеть, — пропел сидящий.

— Отвяжи! Хуже будет.

— А ты не грози. Хуже не будет. Худа вовсе нету.

— Ты чего? Чего я тебе сделал? Отвяжи-и-и... — неожиданно для себя загундосил Жека. Так, как это делают маленькие дети, когда знают, что родительская воля неперешитаема.

Человек вышел из-за огня, стал виден — и Жека увидел испитого мужичка.

— Ах ты, гнида! Быстро отвязал! Я тебя урою! — завопил он, видя, что нету никакой опасности, а есть гнуснейший человечешко, которого тронь, а из него дух вон. Ну-ка... Что ли, тот самый, который тюкал дрова у Шушеры? При этом воспоминании Жека как-то приутих. Мужичок не ответил, а ушел вбок и стал тащить что-то. Точно, тот самый.

— Вот, вишь, расперло! Никак дух выхода не найдет. Изменилась природа, вся теперь другая.

Жека понял, что за бок и ногу он видел в яме — то самое блудное тело, которое он привез Шушере. В Жеке присмирел весь его гнев. Происходящее было до того странно и до того близко, что правда лучше пока глядеть на него вот так, связанным. Жека стал ждать.

Сил у мужичка не хватало. Он возился возле ямы долго, пыхтел. Потом отвязал Жеку, походив сперва вокруг, приглядевшись к пленнику повнимательней.

— Вижу, кусаться не станешь. Не станешь, а?

— Не стану. Чего это в яме?

— Надо его на место вернуть, туда, где оно сперва лежало.

— Не ты ли покойника с улицы спер? — Жека вроде как уже точно узнал и личишко это пожеванное, и общий облик, но все же в свете происшедшего, в яркой

жарище вселенского полыхания, требовалась ему аптечная точность.

— Да какой же покойник! Ты слепой или дурак? Ну-ка, помогай лучше.

Жека не посмел возражать, потому что он сам был виновен. И эта не сказанная самому себе виновность каталась в нем твердым шариком и еще не нашла себе прочного места. Но Жека внутренним чувством знал, что найдет. И тогда уж... Ох, лучше и не думать, что тогда.

И вдвоем они тягали разбухшее, огромное тело, заполнившее собою всю землянку. И когда оно вылетело с тугим хлопком, будто пробка из бутылки, мужичишко укатился в кусты, а Жека пребольно шлепнулся на задницу.

— Говори, куда везти, — мужик не стал рассусоливать, быстренько выгреб из кустов и стоял над телом.

— А я откуда знаю?

— Так ты ж его Шушере привез.

В Жеке вспыхнуло: узнали его. Узнал мужичонка, теперь заложит, а там менты найдут, как пить дать. Им просто, они хоть тупые, да кое в чем сообразительные — долго разбираться не станут. Скажет, что Жека человека урыл. А завтра Машка и Жека-младший будут ждать его на вокзале. Он вспомнил Машкины блондинистые волосы, которые пахли цветками. И подобрал тяжелый острый камень. С ним встал и сделал пару шагов.

— Ты стой-ка, не подходи. Все подохнем. Это природа в тебе спасается, зверье зубы скалит. Тело в тебе говорит, — мужичок сказал и встал смиренно.

Жека стал, как волк, обходить и подкрадываться. Камень в его руке шевелился, как живой, — это тело перебирало его пальцами, ощущало его природу и с ней сливалось.

— Это тело говорит. А оно хоть и твое, обмануть может, — мужик стоял и не защищался. Он только гово-

рил слова, и эти слова будто бы не давали Жекиной руке подняться. Виновен каталось в нем колобком, подгоняемое словами мужичка, вертелось и юлило и вот-вот встало бы на место. Вот-вот, и тогда... Жека выбросил камень, позволяя себе еще немного побыть.

Мужик взял тело за плечи, Жека — за ноги. Водрузили на санки и повезли. А куда везли, а зачем? Жека спросить боялся. Но мужик сам сказал:

— Оно куда ему надо, туда и приедет.

Зарево пожара было уже не только видно, но и слышно. Мужик остановился, санки подкатились сзади и ударили его по ногам.

— Разгорается все шибче, смотри-ка, — удивленно провякал мужик, потирая ударенные лодыжки.

— А ты чего думал? Чего удивляешься? — Жека сообразил, что, должно быть, мужик думал так же, как он: что этот дом, а точнее, угрюмая пещера, и его владелица неподвластны не только простой человеческой силе, но и гурьбе стихий. Жизнью стихий она владела, как он, Жека, азбукой. Могла перемещать дожди, вызывать снега. Зима приходила по ее повелению. Иначе как могла она быть тем, чем была.

Но теперь в нем проснулось новое понятие, удивительное и страшное: то, что повергало его в ужас, было повергнуто им. Страшное же заключалось в том, что, совершая свою расправу, он стал таким же, как она. Он стал ею. Именно она блуждала где-то в нем, не находя себе места. Но такое место почти всегда находится. Жека чувствовал, что она захлестнет его, как волна, разломит и в эту дыру войдет и застынет и тогда — всё, кобздец. Мог ли он, простой человек, хоть и в куртке-пилоте, воспрепятствовать этой древней силе, раскиданной по всему человечеству и находящей воплощение в узких тревожных местах — таких, как Жека?



— Мужик, ты молитву какую-нибудь знаешь? — Жека не нашел, чем спасти себя.

— Церковную, што ль? Не-а, церковных не знаю.

— Ну а не церковную?

— Не-а, не знаю.

Жека, который слышал, что мужик пел что-то похожее на молитву, расвирепел и дернул сзади за санки. Он думал, мужик просто скрывает, жадничает, не хочет делиться с ним благодатью. Тело упало с санок и покаатилось. Катилось оно вниз с горы, к железнодорожной насыпи. На многих рельсах внизу громоздились вагоны один за другим. Мужик отпустил санки и поскакал вниз за телом. Жека поскакал тоже, подворачивая ноги и съезжая на задую.

\* \* \*

Тело катилось бревнышком. Жека кинулся на землю и тоже покатился. Он скрипел зубами, вскрикивал, рычал. Им вдруг овладело явное желание звучать, обозначая свое присутствие природе. Мужик уже достиг низа и отряхивал промокшие от вялого снега штаны. Жека прикатился, уткнулся в тело, но вставать не спешил. Ему показалось, что тело живое, что оно вздрогнуло, и он лежал, не стесняясь, прислушивался к нему. Ему слышалось, будто бы что-то внутри тела бродило, завывало, уныло вопрошало. Однако ни слов, ни вопросов Жека различить не мог. Несоразмерно огромное любопытство разворачивалось в нем крупной географической картой. И он погружался оттого все больше и больше в звуки чужого и будто бы мертвого естества. Так и его собственный страх утих, колобок внутри перестал кататься, Жека не думал больше о Шушере и ее погорелом доме. Ветерок ласково гудел над его правым ухом, выставленным к звукам другого,

человеческого мира. Левое слушало землю. А все остальное раскинулось безымянной плотью, имеющей форму, но не имеющей движения. И наконец Жека уснул, убаюканный.

Мужик тем временем обошел вагоны. Откуда-то были слышны разговоры, наверное, поезд налаживался увезти состав. Вагоны были грязны и пусты. Какие-то обрывки, ошметки лежали в них вечными пассажирами. В один из вагонов мужик запрыгнул, ногами вытолкнул крупный мусор. Затем снял с себя шапочку и ею подмел, будто веником, пол.

— Эй, давай-ка, отпусти да заволокем его туда. Не приехало оно еще куда надо. А как приедет, так и оживет, — мужичишко пнул напарника в зад. Но напарник не шевелился. Мужик нашел палку и подошел снова.

— Давай-ка! — и пнул покрепче.

Ему никто не отозвался.

Он пробовал отодрать Жеку от тела. Но куртка-пилот словно срослась с черной курткой безымянного. Мужик охнул, стал трогать Жекины шею, руки, лицо — но глаза были плотно закрыты, веки одеревенели. Теперь лежали на земле два безымянных тела, погасших для внешней жизни.

\* \* \*

Издали надвигался шум. Мужичонка вставил палку между Жекой и телом и подействовал ею как рычагом. Не сработало. Где-то, видать, образовалась между ними перемычка. Тела — они как почва. Насыплешь песку в перегной, так и не отделишь уже потом, сойдется, как родное.

— Эй, вот он тут! — о вагоны ударялись чужие слова и рассыпались множественным эхом. И будто туча птиц захлопала крыльями. Набежали люди. Мужичон-

ка отбросил палку и сидел теперь на корточках в ожидании.

Милиционеры и гражданские люди приближались. Они обставили собою тела и сидящего мужичонку.

— Все отошли! Отошли быстро! — взял неестественно высокие ноты грузный полицейский, последним добежавший до места тел и всё представлявший на бегу, будто аттестовывает его высокая комиссия по физсостоянию на профпригодность.

— Отошли все! Федотов, поджигателя забирайте!

К мужичонке подошли два гражданина, кургузый и высокий. Но рук не заламывали, а чего-то ждали будто.

Мужичонка потер лимонную свою морду — и неожиданно сиганул под ближайший вагон. Сделал он это так стремительно, что кургузый открыл рот, а писклявый разразился бессмысленным; «Стой!» — и тут же роток захлопнул от осознания бессмысленности.

— Петрович, может, это не он? — помолчав-подумав, предложил кургузый грузному. Петрович разразился искристым матом, а потом сказал спокойно:

— Может, и не он... Не, не он.

— Не тот? Не тот? — зашелестела гражданская публика, мужская часть которой нацелилась было преследовать.

— Пусть бежит, не тот, — слуги закона мухами облепили тела, которые показались мертвыми.

— Жмурики. Вызывай.

Гражданская толпа зашелестела:

— Может, догнать? Догнать, может?..

И все кинулись вдогонку, будто прошлогодние истончившиеся листья понесло ветром.

Но мужик исчез. Исчез, как не было. Гражданские любопытствующие возвратились к телам...

Это все было лет семь назад. Тела эти, которые не смогли ни расцепить, ни толком исследовать, потому что они стали как будто железные, отдали родственникам Жеки. Супруга Маша похоронила мужа в обнимку с чужим мужчиной и страдала от этого долго. Хоть оба мужика и были одетые, она черт-те что думала белобрысой своей головой. В бумажке, которую ей выдали в морге, написали для приличия: обширный инфаркт. В местной газете зафиксировали этот ужасный случай.

Но публика забывает быстро. Только Маша страдала и страдала.

Однажды, спустя пару месяцев после того, как она отплакала Жеку, к ней пришла гостя.

Маша приводила в порядок хозяйственные дела, в тот день отскребала с балконных перил голубиный помет. Снизу на нее долго смотрела женщина. Взгляд ее был таким глубоким, что Маша почувствовала себя частью этой бездны — и жестом пригласила ее войти в подъезд. И добавила:

— Тридцать пятая.

Через минуту Маша уже стояла лицом к лицу с женщиной средних лет. Точно такой же женщиной, как Маша, только цвет волос другой — рыжий, крашенный.

— Я пришла поговорить о моем муже.

Маша зарделась. У нее, когда еще Жека был жив, водился один мужичок, водитель с хлебозавода, хороший такой, спокойный кобелишко. И женат был, Маша знала.

— Вы его знаете, — сказала рыжая очень тихо.

Маша еще пуще зарделась и сложила руки на груди крестом, как революционер в Шлиссельбургской кре-

пости или как лорд Байрон. Она готовилась дать крутой отпор. Перебирала в голове яркие слова, которыми можно было бы самозащититься.

— Вы его похоронили, — женщина опустила глаза.

Тут Маша остановила свою мыслительную деятельность и стала внимательно и молча обсматривать женщину. Она была, наверное, молода, как и Маша, но обе повитерлись, как плюшевые коврики. Она была худой, худее Маши. Волосы красила, видать, дома. Одежда скромно, в джинсы и китайскую кофтенку, сумка из кожзама. Очень скромно. Но туфли вызывающе сияли. Они были из золотой кожи. Она пришла сюда золотыми ногами, думала Маша. И ей показалось, что это предзнаменование. Ей показалось, что женщина эта принесла ей что-то. Хорошее что-то.

— Вы его похоронили... — как-то просительно сказала женщина.

— Ну вы понимаете же... — Маша не знала, что говорить. Ее руки заметались по платью. Уж той жене она бы нашла что сказать, выгнала бы, да и дело с концом. Ишь, мужика проследить не может, а туда же, с разборками!.. Но тут дело иное. А какое? А Бог знает. А что говорить? И она сказала:

— Ну да.

— А теперь его надо достать, отрыть.

— Труп?

— Тело.

— Ну, покойника?

— Нет, тело. Он не умер. Он замер. Он у меня такой. Zamрет где, там и лежит. Или сидит. По месяцу бывало. Особенно когда выпьет.

Женщина переминалась с ноги на ногу. Маша не нашлась, что ей ответить. Она не могла покрутить пальцем у виска, потому что совершенно не понимала, что происходит. Ну совершенно.

— Я ничего не понимаю.

— Я в общем тоже. Мы обследовались, но ничего нам не сказали толком, — женщина достала платочек и стала сморкаться и потом плакать.

И тут в Маше зажегся какой-то огонек. Такие огоньки она не раз наблюдала в перелеске, делившем их окраину на две части, в котором стоял частный сектор, как домики бабок-ёжек. Маша и любила этот лес, и не любила. Она любила сказки, и лес казался ей воплощением сказки. Те огоньки, которые она видала между соннами, казались ей волшебными. Хотя, может, здоровой женщине они показались бы фонариками или еще чем-то вполне обыденным. Но Маша потеряла мужа и уже не была здоровой, а жила в затухающей надежде увидеть когда-нибудь Жеку.

Рыжая, сказавшая: «Я тоже» посеяла в ней волшебный огонек. Если они обе не знают и никто не знает, значит, может быть, это излишек природы забрался в их мужиков. Может, всё же... Маша, которая к религии относилась сухо, потому что иначе казалась себе слишком старой, вспомнила, что есть на земле человек, о котором доподлинно известно, что он ушел в глубокое затмение и спячку и к нему едут туристы, желающие поглядеть на чудо.

— Слушай-ка! — Маша подобралась вся, затопотала по комнате. Рыжая подалась вперед и тоже стала перебегать из угла в угол.

— Слушай-ка... — повторила Маша. И больше ничего не сказала.

Рыжая женщина, которую звали Екатериной, подумала, что паузы происходят оттого, что товарка не знает ее имени:

— Катя я...

Но Маша не потому замирала, что не знала имени. Правды в имени нет никакой, так, кликать да злых ду-

хов отпугивать. В Маше не оттого поднялся вдруг ветер-ветрище.

На улицу вдруг тоже, согласуясь будто с Машиной душой, обрушился сухой ураган. Маша встрепенулась и кинулась на балкон, кричать Жеку-младшего. А когда убедилась, что дозвалась, повернулась к Кате и пригласила:

— Пошли.

Жека-младший с хохотом вверзся в квартиру, за ним рухнули на пол в неуголимом смехе два товарища. Даже присутствие незнакомой тетки не могло остановить подростковый хохот и возню. Маша обошла кучу-малу, сняла с вешалки в прихожей ключик и рукою поманила Катю, вздыхавшую, глядя на детей -- у нее-то детей от мужа не было, только своя дочка. Катя последовала за Машей в открытую дверь. Жека-младший на минутку остановился, поглядел вслед матери, будто бы проглоченной дверью и попавшей в ураганные лапы. А потом снова кинулся в игру. Мальчишки любят ураганы и все такое прочее.

\* \* \*

Погодка так разошлась, что летали по воздуху ветки тополей. Маша повела Катю вдоль стеночки пятиэтажки, аккуратно, чтобы не попасть в лапы ветру. Так они дошли до угла. Дальше начинались гаражи.

Женщины вышли из укрытия и побрели навстречу ветру, перебарывая стихию. Песок, поднятый ураганом, хлестал в лицо. Машу по голове ударила тополиная ветка. Но она не растерялась и погрозила кому-то кулаком. Кому — сама не знала, всему, наверное, что чинило ей препятствия, мешало двигаться к цели, о которой она только еще подозревала.

Маша отковыряла присохшую к скважине грязь и быстро провернула в замке ключ. Они проскользнули

в гараж и замерли там, тяжело дыша, принюхиваясь к мужским гаражным запахам. Катю потянуло плакать. Маша поймала ее в темноте, прижала к себе и погладила по голове. А потом нашарила выключатель на стене.

Гараж был без машины. Машину Жека еще только собирался приобрести. Но все для машины, заветной мечты, уже наносил в этот гараж, который достался ему от дядьки. Одного взгляда достаточно было, чтобы понять: хозяйственный владелец. Мария оглядела все своим синим глазом и на минуту зарыдала. А опомнившись, точно приказав себе не разнюживаться, схватила то, за чем пришла — лопату и еще одну лопату. Она взяла картофельный мешок, сунула туда лопаты языками вниз, еще ломик и два худых одеялка, списанных из дачада и выменянных у подруги-заведующей на мешок картошки.

Катя выволокла мешок из гаража. На улице уже лило, как обычно и бывает в этих широтах после ураганного ветра. Она промокла вмиг. Маша, пока закрывала гараж, тоже промокла. Они увидели под ногами мокрую кошку, кошка собиралась прошмыгнуть в гараж через щель между дверью и землей — Жека не успел подтянуть как следует створки.

— Ну, иди, Машка... Машкой будешь, как я, — решительно сказала Маша и пустила животное в Жекин гараж. Муж кошек любит, ему понравится. Кошка Марья Белова — а это была именно она — посмотрела на женщин и залезла в щель.

\* \* \*

— Эй! — крикнула Маша тому, кто сидел в охранной будке на выходе из кооператива.

В окне показалось желтое испитое лицо.



— Эй, а где Трофимыч? Нету сегодня? Я тут оставлю ключик, а то потерять боюсь, карманы мелкие. Я ему всегда оставляю. Ты скажи ему: от Маши из пятого дома. Скажешь?

Маша протянула в окно ключ. Сморщенная человеческая лапка молча приняла его.

Женщины взяли мешок с обеих сторон, за два конца, и понесли его мимо пятиэтажек, мимо дома Люськи-людоедки, понесли на автобусную остановку. Там они торчали минут пятнадцать. Пока не пришел за ними старый корейский автобус нужного маршрута. Катя заволокла мешок, Маша пособила снизу. Они уселись одна за другой — видно было в окно — и уехали. Точно голяшки железных сапог виднелись вдали трубы ТЭЦ. Словно каменные хлебы, в собирающейся темноте отдыхали почернелые домишки. А наверху на горе торчало выгоревшее черное место. Там теперь ветер продувал лес, будто оркестрант блестящую тугую трубу.

# Рассказ о писателях

*(на правах послесловия)*

«Книг много, а читателей мало», — подумал Назар Кузьмич, собирая в папочку исписанные листочки. Мелкобисерные букочки не хотели ложиться в свой картонный гробик и раскатывались. Назар Кузьмич трепетно ругался, задерживая беглецов заскоружлыми пальцами.

Потом он испил чаю с сахаром и вареньем, а еще с пастилою. Потом выключил в квартире свет. А затем и вовсе удалился прочь.

На лестничной площадке покуривал Иван Ильич.

— Што, Назар Кузьмич, написал? — приветствовал он, выпуская изо рта дымную собаку. Большую. Наверное, ньюфаундленда. — Много?

— Много, дорогой, — победствовал ему Назар Кузьмич.

— Ну-ну, — Иван Ильич вложил в рот указательный палец и поковырял в дальнем зубе.

— А ты? — с надеждою спросил Назар Кузьмич.

— Да и я много.

— Пойдем, што ли, найдем, кто бы почитал, — пригласил тогда Назар Кузьмич.

И они смутно, в сумерках природы, побрели сквозь деревья...

## Содержание

Бобы .....	5
Тётя и слон .....	46
Летописец .....	77
Снегурочка .....	96
Святой .....	127
Вечная любовь .....	164
Михеев и собака Павлова .....	201
Тело .....	211
Рассказ о писателях .....	242

*Светлана Михеева*

## **ТЕЛО**

*Повести и рассказы*

Верстка *Е. В. Житинской*  
Корректор *Ю. Б. Гомулина*

*Дизайн обложки Е. О. Шварёвой*



Подписано в печать 19.11.15. Формат 84x108 <sup>1</sup>/<sub>32</sub>

Гарнитура Джорджия. Печ. л. 7,625

Заказ 02/03

Издательство «Геликон Плюс»

Изд. лицензия ЛР № 065684 от 19.02.98

Санкт-Петербург, В.О., 1-я линия, дом 28

<http://www.heliconplus.ru>